Сергей БЕРЕЖНОЙ

РЯЖЕНЫЕ

Рассказы

Рязань – 2008

ББК 84
Б 48

Бережной С.А. Ряженые: рассказы. – Рязань, 2008. – 172 с.

Сергей Бережной – член Союза писателей России, автор книг «Тихая провинция», «Профессия – следователь», «Сати», «Ты прости меня, милая». Публиковался в альманахах «Капели клавесинный бой», «Я трогал радугу руками», «Встречи», «Рубежи», «Рать», «Под небом рязанским», журналах «Звонница», «Наш современник», в периодической печати.

Окончил юрфак Воронежского госуниверситета и Академию МВД СССР. Служил в Советской Армии, в органах МВД. В настоящее время федеральный судья. Живёт и работает в Белгородской области.

ISBN 978-5-903986-02-6

© Бережной С.А., 2008
© Паскаль К.И., предисловие, 2008
© ИП Жуков В.Ю., 2008
© «Рельеф-Принт», 2008

ПРЕДИСЛОВИЕ

В книгу прозы Сергея Бережного «Ряженые» собраны рассказы очень разные – разные по жанру, по стилю, по времени написания, да и по уровню исполнения. Внимательный читатель наверняка это заметит и по-своему оценит. На мой взгляд, ярко представленные примеры остросюжетной, документальной, деревенской, бытоописательной прозы свидетельствуют о многогранном писательском даре автора. Но в то же время эти примеры говорят и о том, что автор сам ещё до конца не определился, в каком жанре и стиле ему легче и естественнее работается. Тут, безусловно, сказывается сильное влияние личного жизненного опыта, расширяющего, с одной стороны, тематический диапазон, а с другой стороны, довлеющего над автором как некая система проверенных и незыблемых координат.

Судьба, личный опыт – в общем-то, необходимое условие для того, чтобы писатель состоялся. Вряд ли бы мир узнал гениальный роман «Война и мир», если бы Лев Николаевич Толстой не носил в юности офицерские погоны и не прошёл крещение Севастополем. Очевидно, что богатая событиями биография Сергея Бережного (бывшего офицера, а ныне федерального судьи), его личный опыт являются исходным материалом для его творчества. Даже учитывая необходимую долю вымысла в его произведениях, мы понимаем, что речь всё-таки идёт о пережитом – о том, что автор наверняка знает. Рассказы «Повязка Фемиды», «Белые розы», «Ряженые», «Встреча на кордоне» потому и читаются легко, что автор избегает в изложении литературных излишеств, а пишет так, как рассказал бы эти истории случайному попутчику в поезде или всё понимающему товарищу по работе. В этом безусловная притягательность названных рассказов. Но отметим всё же, что притягивают они в большей степени своим сюжетом – просто потому что интересно в принципе.

Совсем по-другому, однако, воспринимаются рассказы «Цветы запоздалые», «Васина любовь», «Слабак», «Предчувствие», «Враги» – исполненные в лучших традициях современной «деревенской» прозы. Читая их, невольно вспоминаешь ставшие уже хрестоматийными рассказы Белова, Шукшина, Астафьева.

Не потому что рассказы чем-то схожи, а потому что близки по духу, потому что написаны с той же бережною любовью и вниманием к простому человеку, корнями приросшему к родной земле. Интересно, что в этих произведениях Сергею Бережному удаётся более точно выдерживать стиль, а главное – более сочно передавать язык и характер своих героев. И вот уже немногословные и лишённые внешних эмоций Василий Антипов и Пашка Аверьянов обретают столь чёткие черты характера, как будто речь идёт о знакомых тебе реальных людях. Столь же яркими и запоминающимися получились старики в рассказах «Цветы запоздалые» и «Предчувствие». Полагаю, что эти герои и их истории не оставят равнодушными даже самых взыскательных читателей.

Если же говорить о целостном впечатлении от книги, то хочется выделить две темы, которые почти всегда звучат у Сергея Бережного, и в большей или меньшей степени слышны во всех его рассказах. Любовь и одиночество – именно эти состояния человеческой души волнуют автора в первую очередь. Любовью и одиночеством наполнены его лучшие страницы, любовь и одиночество движут поступками его героев. И может, именно поэтому одиночество у Сергея Бережного не имеет привкуса безысходности. Ведь и сам он пишет о своих современниках, об их непростой, а порой и нелепой жизни с болью и пониманием. Так может писать лишь человек, сердце которого не заперто на замок, а открыто настежь для всех, кто не утратил способности сопереживать ближнему.

Признаюсь, что именно этим мне в первую очередь близки и понятны рассказы Сергея Бережного, моего коллеги и доброго товарища, и надеюсь, что с каждой новой книгой круг его благодарных читателей будет только увеличиваться. Думаю, и автор и его произведения этого заслуживают.

Константин Паскаль,
член Союза писателей России

ПОВЯЗКА ФЕМИДЫ

В порочном мире золотой рукой
Неправда отстраняет правосудье.
И часто покупается закон
Ценой греха.

В. Шекспир. Гамлет

Заседание бюро райкома партии было назначено на десять. Минут за двадцать до начала стали подходить члены бюро, вежливо раскланиваясь с секретаршей. Хоть и должность не ахти какая, но всё ж таки величина не последняя, ближе всех к первому. Та, пряча острые карие глазки за стёклами очков в модной прямоугольной оправе из тонкого анодированного золота (подарок первого из Германии), отвечала кому вежливо до приторности, кому просто вежливо, кому кивала спесиво и свысока, кому едва размыкала тонкие, в нитку, губы.

Молча пожимавший руки входящих второй секретарь всем своим строгим видом и осанкой подчеркивал важность предстоящего. В пять минут одиннадцатого он, слегка опустив плечи и чуть изменив наклон головы, сразу став на четверть ниже, скользнул за широкую массивную дверь с ярко-красным дерматином. Минуты через две выглянул и негромко, но отчётливо и строго произнёс:

– Входите.

Рассаживались согласно рангу и традиции. Вдоль длинного стола — члены бюро, а на стульях у стены — несколько руководителей, вызванных для очередного разноса с изначально скорбными лицами, словно пригласили их присутствовать на собственных похоронах.

Первый секретарь, как и подобает, грузно опустил на массивный стул с высокой резной спинкой раздобревшее тело, облачённое в тёмно-синий с тонкой светлой полоской

польский костюм, раскрыл красную папку, зачем-то переложил находившиеся в ней листы и тяжёлым взглядом обвёл своих соратников по партии.

Когда заседание подходило к концу и стали стихать раскаты мощного баса первого, неожиданно поднялся Силантьев, рабочий местного завода, для процента введённый в бюро.

– Иван Петрович, разрешите? Почему мы не рассматриваем вопрос о партийности Киреева?

По сценарию Силантьеву отводилась роль молчаливой массовки, однако, имея на всё собственную точку зрения, он не раз приводил в тихую ярость присутствующих.

Секретарь поджал губы в нитку, долго и тяжело смотрел поверх очков на рабочего.

– Дело в отношении Киреева суд направил на доследование. Что-то перемудрили пинкертоны, не там ищут.

– Простите, Иван Петрович, – прокурор, отрешённо думавший о чем-то своём, встрепенулся. – Как на доследование? Вас неверно информировали, дело даже ещё в суд не поступало.

– Партии виднее, Алексей Иванович, а вы не владеете обстановкой, – первый побагровел, и голос налился металлом. – И вообще, есть мнение на следующем бюро заслушать прокурора. Пусть расскажет, как докатился до того, что какие-то сопляки-следователи позволяют чернить доброе имя руководителя-коммуниста. Это вам не тридцать седьмой год, товарищ прокурор.

Даже не то, что прокурора будут слушать на следующем бюро, а сам тон, каким были произнесены слова «товарищ прокурор» – с растяжкой «а» и с повышением голоса, – заставил присутствующих, хотя к ним это и не относилось, всё равно обмереть от страха. Власть первого в районе была безгранична, и все знали, что он не позволит ослушания.

Нависла тишина. Подлая, трусливая, липкая, размазывающая, зловещая. Как будто все вдруг уменьшились в росте, и лишь глыба первого нависла над столом, словно вдавливая присутствующих ещё глубже в стулья.

На лбу прокурора выступила испарина.

Неожиданно проскрипел грубоватый голос Силантьева:

– Да, видно, действительно не там ищут...

Сразу после бюро прокурор поехал в райотдел. Ермакова шустро выбивала дробь на пишущей машинке, заканчивая обвинительное заключение. Поздоровавшись, прокурор грузно опустился на стул, придвинул том дела к себе, стал листать.

Закрыв последнюю страницу, достал «Беломор», размял папиросу, закурил. К делу не подкопаешься. Как ни крути, а воровал этот чёртов Киреев, да, видно, ещё и делился кое с кем, не без этого. Иначе бы не стояли за него стеной – себе дороже.

Прокурор прекрасно понимал, что раз зажёгся красный «стоп», то в суд лезть нечего. Всё уже решено, и дело непременно вернётся обратно, да ещё за брак спросят. Эх, до чего же подлая наша жизнь! Мало быть профессионалом, тем более на должности прокурора. В большей цене быть политиком: держать нос по ветру, не вылазить со своей принципиальностью, вовремя «отработать» назад.

А этой девчонке что сказать? В институте ей долбят: закон превыше всего. Газеты, телевизор – то же самое, а на деле? Вон глаза распахнула, ждёт, что похвалю, а судьба дела, девочка, давно уже решена. И не здесь, и не им. И стоит босая Фемида с сорванной повязкой и разными чашами весов, а прохиндей Киреев будет всё так же воровать, и ничего с ним не сделаешь.

Прокурор медленно вдавил окурок в пепельницу, растёр, отряхнул пальцы и долгим взглядом посмотрел в усталые глаза следователя.

Понимая, что поединок проигран, не начавшись, он всё же не хотел, чтобы у этой вчерашней студентки, девчонки ещё, жизнь начиналась с удара под дых, с бессилия перед властью беззакония.

– Ну что ж, молодец, толково следствие провела, направляй в суд.

Судью сломали давно, лет десять назад, и теперь каждый раз, когда подходил срок выборов, он внутренне замирал, ожидая отставки. С годами страх не проходил, а усиливался: трудно начинать жизнь сначала, когда до пенсии осталось всего ничего.

К выполнению указаний, выраженных ювелирно тонко в виде «совета» или «мнения», но в то же время столь конкретно, что места для вариантов не оставалось, судья был готов.

Процесс начался легко и быстро. Прокурор, ожидавший с минуты на минуту развала дела и готовый к этому, был поражён внешне беспристрастным ведением процесса и терялся в догадках: уж не изменилось ли что там, наверху?

Несколько раз судья резко осёк по-барски вальяжно чувствовавшего себя Киреева, а своими вопросами и репликами довёл его до красных пятен и испарины на лбу.

Прокурор видел, как заметался, занервничал директор, приготовившийся к небольшому спектаклю. Последним мазком искусного художника на картину беспристрастного суда была брошена председательствующим фраза, как бы в никуда, ни к кому конкретно:

– Удивляюсь, почему следователь не избрала иную меру пресечения?

Панический ужас сковал Киреева: «Всё, предали, бросили, сволочи. Обещали же спасти. Ну уж нет, если посадят, то сидеть будем все, всех потяну». И сам не зная почему, Киреев, заискивающе ловя взгляд судьи, спросил:

– А разве вам Иван Петрович не звонил?

Ненавидящий взгляд серовато-зелёных судейских глаз ожёг директора. Он хотел ещё что-то спросить, но поперхнулся слюной и зашёлся в натужном кашле.

Прокурор расслабленно смотрел в зал, ловил себя на мысли, что судье придётся нелегко, что начнут его мять и давить в райкоме, а может, и в области, что надо мужика как-то прикрыть. Да и вообще он старикан ничего, работать с ним можно. Ишь как в оборот делягу взял. А ведь звонили ему, может, и в кабинет приглашали, советовали.

Прокурор придвинул листы, сосредоточился. Сейчас ему выступать. Сейчас он должен предложить наказание. Сейчас и от его мнения будет зависеть судьба этого прохиндея. Мерзкий тип, укатать бы его на всю катушку, чтоб другим неповадно было….

Судья, пошептавшись с заседателями, неожиданно объявил перерыв.

У Киреева задрожали губы, и он, вскочив, всем корпусом подался вперёд:

– Товарищ судья, не губите! Я всё расскажу, всё. Все берут, не только я. Так почему же меня только одного, почему?!

Судья, не оглядываясь, шёл по проходу между рядами, глядя прямо перед собой и никого не замечая.

Прокурор всё понял. Это был спектакль, ювелирный, тонкий, профессиональный фарс и не более. Молча снеся унижение, прекрасно осознавая отведённую ему роль статиста, судья, тем не менее, не мог отказать себе в удовольствии сыграть её виртуозно. И опять защемило сердце.

Сейчас вернётся суд, и раздастся публичная пощёчина правосудию. Но никто из сидящих в зале не поймёт этого, не заметит, как, впрочем, не поймут этого и заседатели, покорно подписывая определение.

Взяв кодекс и папку с копиями документов, прокурор, ссутулившись и сразу постарев на несколько лет, тяжело двинулся к двери.

Проходя мимо Киреева, поднял взгляд и тут же отвёл его. Гримаса брезгливости судорогой пробежала по лицу и скрылась в складках кожи. От красного в пятнах лица, от трясущихся жирных щёчек, испещрённых капельками пота, ему стало невыносимо противно.

Дело было возвращено на дополнительное расследование, но обратно к следователю не поступило, затерявшись в недрах областной прокуратуры.

Кирееву не простили минутной слабости в суде и отправили в соседний район на должность пониже с доходом пожиже, на всякий случай обеспечив депутатским мандатом.

Прокурор получил строгий выговор с занесением по партийной линии за необеспечение надлежащей борьбы с расхитителями и взяточниками, а судью по истечении срока без шума проводили на пенсию.

Первый секретарь же в скором времени пошёл на повышение в область.

Шёл второй год перестройки.

1992 г.

БЕЛЫЕ РОЗЫ

1

Жёлтый свет фар резал разбавленные белёсой луной, прилепившейся к краешку неба куском ноздреватого сыра, чернила ночи, высвечивая за обочиной размытые пятна домов, покосившихся заборов, лохматых деревьев. Скользнув по обшарпанному боку подстанции, выхватил у придорожной сирени ссутулившуюся фигуру и замер на какое-то мгновение, а затем и вовсе погас. Тишину ночи разорвал звук хлопнувшей дверцы. Водитель постоял, привыкая к темноте, негромко окликнул:

– Жоржик, ты?

– Я, я, товарищ капитан. Идите сюда.

Приехавший, оскальзываясь на росном склоне и тихо чертыхаясь, спустился с обочины, подошёл к стоящему.

– Ты бы ещё на кладбище встречу назначил, конспиратор. Ну, где документы?

Тот ничего не ответил, молча протянул свёрток и отступил в сторону. Луна маячила за спиной, и капитан машинально отметил, что если кто-то прячется в кустах, то лучшую мишень в лунной подсветке, чем он, трудно найти, и, расстегнув китель, передвинул кобуру на живот.

Вдруг он инстинктивно почувствовал опасность, но не успел испугаться. Из сирени высунулась рука, и короткий ствол ткнулся под левый сосок, полыхнув пламенем. Капитан, выгнувшись в спине, полетел на землю, сбитый выстрелом, так и не успев понять, что его убили.

Стрелявший метнулся к нему, торопливо вытащил из кобуры пистолет, извлёк обойму, выщелкнул патрон и сунул в карман. Ударом ладони загнал магазин обратно в рукоять и, взяв руку убитого, вложил в неё оружие. Достав из кармана припасённую гильзу, бросил её в траву и повер-

нулся к парню, которого начинала бить мелкая нервная дрожь.

– Быстро к машине. Да не к его, чмошник, к моей.

2

Неловко приткнулась сбоку дороги скособоченная подстанция. Серая лента асфальта в морщинистых складках и выбоинах выныривала из-за поворота, за которым таился город, и скрывалась за кромкой далёкого леса.

За обочиной дороги под раскидистой сиренью в линялой и пыльной полыни лежал Лёшка Гладышев, устало закинув руку за голову. На форменной рубашке расплылось и застыло чёрно-красное заскорузлое пятно. В откинутой наотмашь руке отливал синевой росный ПМ[1]. Серые Лёшкины глаза, уже подёрнутые пеленой, с недоумением и болью отталкивали опрокинутую синь неба.

И погибший, и нахмуренные деловитые лица прокурора и следователя, и мелькающие форменные фуражки и спины теперь уже бывших коллег, – всё это резко диссонировало с мощным потоком жизненности, исходящим от зарождающегося утра.

– Труп расположен в ста метрах к северу от подстанции и в шести метрах от левого края проезжей части, перпендикулярно дороге…

Следователь прокуратуры Матвеева размашисто разгоняла по мятому листу протокола монотонную диктовку прокурора. Рядом зябко передёргивали от утренней свежести плечами понятые: поджарый старичок-отставник с длинным рядом орденских планок на куцем пиджачке и молодая женщина, дачи которых неподалёку карабкались по склону.

Прокурор кивком головы подозвал эксперта:

---

[1] ПМ – пистолет Макарова. Штатное оружие сотрудников МВД.

– Подиктуй по пистолету. А то такого напишет, что ни в одни ворота не влезет.

Шамин носовым платком бережно извлёк из уже застывших пальцев Гладышева пистолет, опылил порошками и мягко прокатал дактоплёнкой. Затем также аккуратно извлёк магазин, помедлил и на всякий случай прошёлся кисточкой. С боковой грани снял отпечаток, положил дактоплёнку в конверт, подписал его и передал понятым. Затем передёрнул затвор и вопросительно взглянул на следователя.

– Алла Ивановна, в магазине семь патронов, – Шамин протянул Матвеевой обойму. – В патроннике патрона нет.

Следователь вопросительно изогнула изящно подрисованную бровь.

– Ну и что?

– Дело в том, что после производства выстрела следующий патрон автоматически подается в патронник. Но его здесь нет.

Шамин умышленно сделал ударение на последней фразе.

– Ты тут версии не строй, не твоего ума дело, разберёмся, – прокурор зло оборвал эксперта, закашлялся и бросил недокуренную сигарету рядом с убитым. – Вон гильза лежит, разуй глаза, криминалист, – недобро добавил прокурор и носком белой туфли показал на тускло отсвечивающий цилиндрик.

«А туфельки-то с базы, итальянские, 127 рэ, в магазин не поступали», – автоматически отметил Шамин. Последние неприятности у Гладышева были связаны именно с этими туфлями, проведёнными по бестоваркам[1] через магазины и разошедшиеся по нужным людям.

Ещё вчера они с Лешкой травили анекдоты и договаривались насчёт рыбалки в выходные, а сегодня он, Лёшка Гладышев, классный опер, лежал на этой пропахшей пы-

---

[1] Бестоварные накладные.

лью обочине и уже был не в силах рассказать, что же привело его сюда и кто его здесь поджидал.

– Гильза расположена справа, – Шамин присел на корточки и растянул рулетку. – На расстоянии полутора метров от правой руки….

Он должен был произнести это давно привычное слово – труп, но язык не поворачивался назвать Лёшку трупом, – …покойного. Гильза обычная латунная, напоминающая гильзу от пистолета ПМ…

Подняв гильзу, Шамин повертел её, зачем-то понюхал…

– Ты её ещё на зуб попробуй, – прокурор почему-то злился, и эта раздражённость, это прорывающееся наружу недовольство сбивало Матвееву с толку и мешало, мешало, мешало детально и спокойно делать свою работу. – Заканчивайте, и так всё ясно, – прокурор повернулся к следователю, окинул взглядом понятых, помедлил и тяжело, с одышкой, стал подниматься по склону к машине.

– Да нет, всё только начинается, – эксперт упрямо набычил голову, словно собираясь боднуть уходящего прокурора в спину, и, не торопясь, бесцветно продолжил:

– Запах сгоревших пороховых газов из гильзы отсутствует. Маркировка гильзы…. след бойка….

Он диктовал монотонно, даже как-то безучастно, и от этого тона присутствующим становилось понятно, что здесь что-то не так, что-то не складывается и не замыкается в логическую цепь доказательств самоубийства.

Матвеева, оторвавшись от листа, укоризненно подняла бархатные глаза на эксперта и томно протянула:

– Ну что вы, Александр Петрович? Нельзя же так с прокурором при посторонних.

Понятые неловко переминались.

– Они не посторонние, товарищ следователь, а понятые, то есть участники следственного действия. – Шамин намеренно официально отрезал Матвеевой, чувствуя, что

заводится, и всеми силами пытаясь сдержаться. «Тоже мне, курица розовая, ни черта не соображает, а туда же». – К тому же не всё так просто, как вам хотелось бы.

– Кому это вам? Ну что вы, в самом деле!– Матвеева обиженно надула пухлые губки.

– Вам, всем вам, – с расстановкой, подчеркнуто сухо повторил Шамин, давая понять, что думает о случившемся совсем иначе, чем она с прокурором. – При стрельбе в цель гильза выбрасывается вправо назад по направлению выстрела. Если ствол направлен в грудь, то гильза упадёт слева от погибшего. Здесь же гильза справа от Лёшки. А ведь это надо объяснить, и таких вопросов на этой обочине воз и маленькая тележка.

Матвеева окинула взглядом дорогу до самой подстанции, словно пытаясь обнаружить этот злополучный воз вопросов, вздохнула, молча дописала протокол, скороговоркой прочитала его и передала понятым.

– Здесь и здесь распишитесь.

В общем-то, она неплохой следователь для женщины, но сейчас довлел авторитет прокурора, и она, вместо того чтобы дотошно излазить каждый сантиметр земли, прощупать каждую травиночку, легко подхватила версию своего начальника.

Да что она вообще знает о Гладышеве, чтобы на веру принимать слова прокурора?! Не тот человек Лёшка, чтобы вот так, оказавшись невесть как на окраине города, застрелиться из табельного пистолета. И этот беглый осмотр, и поспешность, и перешёптывания начальника милиции с прокурором – всё это определенно не нравилось Шамину.

Заехав в морг, он прокатал валиком негнущиеся пальцы погибшего, снял отпечатки и уже пешком отправился в горотдел.

Мысль о том, что Лёшку Гладышева убили, занозой сидела в мозгу.

3

Почти двадцать лет отработав следователем, так и не выбившись в начальники из-за мальчишеского максимализма, нажив себе кучу врагов не только в городе, но и в отделе, Шамин в конце концов оказался в экспертах.

А виной всему было то давнее дело по трикотажной фабрике, где засветились не только городская администрация, но и милицейские чины. Весовые категории оказались разными, дело более смышлёный следователь прекратил и отправил в архив, а Шамин не без помощи своего начальства поменял кабинеты.

Лёшка Гладышев в отличие от него был стратегом, на рожон не лез, просчитывал до конца. Раскинет сеточку из толковой агентуры и потихоньку наматывает клубочек. А потом хлёсткий, нокаутирующий удар.

Да, видно, где-то прокололся Лёшка, подставился.

– Дураку ясно, Петрович, пришили они Лёшку. – Баруздин отшвырнул гаечный ключ, с остервенением вытер промасленной ветошью руки, потянулся к мятой пачке сигарет.

– Жень, поможешь? Никто ж ведь копаться не хочет. Прокурорским и так всё ясно. Са-мо-у-бий-ст-во, — передразнил Шамин прокурора и сплюнул. – Скорее бы его на пенсию, козла старого, спровадили.

– Ага, держи карман шире, щас насыпят. Тебя да ещё парочку таких из ментовки выпрут, и всё в ажуре: паханы в креслах, фраера, вроде прокурора и твоего начальника, на месте, шестёрки из числа наших коллег, пардон, для меня бывших, на цырлах замерли. Крикни: «Фас!», загрызут любого. Полный джентльменский набор, хоть вешайся.

Уже год коптил Баруздин в частной мастерской, подкручивая гайки да рихтуя легковушки своим бывшим клиентам, а всё еще саднит рана, ноет, не забывается.

– Забыл, как турнули меня из ментовки в двадцать четыре часа? Не успел на работу прийти, а уже приказ на увольнение. И ничего слушать не стали. А ты хочешь здесь расковырять. С ума сошёл, тут от вони задохнёшься.

Ничего не забыл Шамин, тем более что тогда в баре был с Женькой Баруздиным вместе и всё видел своими глазами.

Заскочили они туда по просьбе Женьки – человека ему нужного повидать позарез понадобилось. А у стойки сам хозяин Асатрян Гурген Багратович, в обиходе Гарик.

– Ха, кого я вижу? Мэнты пива захотели? Эй, Сэнэчка, налей этим за мой счет.

Гарик то ли потому, что был на «взводе», то ли потому, что почувствовал свою недосягаемость для таких, как Женька или Шамин, из-за солидной «крыши», но на этот раз он был откровенно развязен. Шамин хотел повернуться и уйти, видя, как недобро прищурились Женькины глаза, и бледность разлилась по его скулам, но опоздал.

Неделю назад он выволок пьяного Гарика из-за руля «Жигулей», отправил в вытрезвитель, а права передал в ГАИ. Наутро дежурный, плохо скрывая обиду, сообщил: в тот же вечер на милицейской машине по распоряжению начальника милиции Гарика отправили домой.

– Ты что ж это, мэнт поганый, рэшил Гарика к ногтю? А вот это видэл?! – Асатрян сложил фигу и сунул в лицо Баруздину.

Бар, гудевший, как шмелиный рой, затих, с напряжением ожидая развязки.

– Всэ у мэня вот здэсь, – директор стиснул пухленький кулачок. – И ты здэсь будэшь. Понял?!

Поиграв желваками, Женька с прищуром окинул глазом притихший зал, криво усмехнулся и подошёл к стойке.

– Бокал.

Юркий Сенечка небрежно сунул кружку с шапкой ажурной пены.

Баруздин обернулся к Гарику, тщательно осмотрел его с головы до ног и резким взмахом левой руки, захватив кадык, прижал к стене. Гарик вытянулся в струнку, затрепыхался, захрипел, а Женька медленно, с наслаждением вылил пиво ему на голову.

Сенечка было кинулся на помощь директору, но капитан сунул бокалом ему в нос и процедил сквозь зубы:

– Не рыпайся, фраер, а то на таблетках жизнь кончишь.

Затем неторопливо достал из кармана мятую трёшку и с размаху прилепил на мокрый лоб Гарика.

– Это тебе, обезьяна, за пиво. Сдачи не надо.

Пристукнув его головой о стену, он резко отпустил, и тот пополз вниз, к полу, растопырив ноги.

– Пошли, – Баруздин кивнул Шамину и направился к выходу.

Гарик, всё ещё сидя на полу, заверещал:

– Я с тэбя погоны сорву, мэнтяра, цволачь!

Баруздин резко обернулся и бросил правую руку за борт кителя, к поясу, обнажив кобуру.

Гарик взвизгнул и метнулся за стойку – от этого психа всего можно ожидать.

Капитан медленно вытащил из заднего кармана брюк пачку сигарет, закурил и вышел.

Жаждущая крови прокуратура ринулась было рьяно подбирать Женьке статью, да спас начальник областного управления угрозыска, посоветовав по-тихому слинять на гражданку. Вот так и оказался Баруздин на обочине...

– Жень, не тот случай, чтобы руки поднимать,– Шамин просительно посмотрел на Баруздина.

– Знаешь что, Петрович? Не лезь ты сюда. Ничегошеньки мы не сделаем, а головы положим, как Лёшка. У

них же вся власть, раздавят. В порошок разотрут. А мы против них с чем? Вот с этим? – Баруздин кивнул на гаечный ключ. – Нет, товарищ майор, я в такие игры не играю. Детсад кончился.

– А ведь Лёшка тебе другом был.

– Ты мне душу не тереби, без того тошно, – Женька щелчком выбил из пачки новую сигарету. – Это ж омут, нырнёшь – не вынырнешь.

– Нас двое, а это ж что-то да значит.

– Хрен с маком и ничего больше. Ты что, за дурака меня держишь? Ты ж не в Америке, частный сыск у нас не в чести. Здесь же по полной программе копать надо. Одних экспертиз с полдюжины потребуется. Тут ведь какой вопрос поставишь, такой ответ и получишь. А кто их ставить будет? Ты? Или я? Здрасте, ваш покорный слуга Евгений Иванович Баруздин, отставной козы барабанщик, собственной персоной. Да нас же завтра прокуратура в КПЗ засунет.

Конечно, Баруздин прав в главном. Частным сыском заниматься закон не велит, а официально – дудки. Всё узлом завязано, не распутать. Кто поверит тому, что они соберут? Только сумасшедший следователь или судья? Это точно, себе статью они скорее насобирают, факт.

– Слушай, Жень, у тебя в налоговой свои люди, помнится, были. Попробуй через них копнуть, а?

– Да пошёл ты со своими идеями! Моих детей ты кормить будешь, когда ихнего папку на погост сволокут?

– Ладно, не каркай. Значит, договорились. Завтра заскочу.

Шамин хлопнул Баруздина по плечу и, заторопившись, выскочил, не оглядываясь.

Женька хотел что-то сказать, но только досадливо махнул рукой и отвернулся.

4

Повторный осмотр мог дать ниточку.

Шамин зашёл к Матвеевой. Постоял у двери кабинета следователя, переминаясь с ноги на ногу, вздохнул и, не очень надеясь на удачу, постучал:

– Алла Ивановна, вы меня извините, но я прошу вас ещё раз осмотреть место.

– Ну что смотреть? – Матвеева раздраженно повысила голос. – Послушайте, Шамин, прокурор же сказал вам, чтобы не лезли не в своё дело. Идите, проводите свои экспертизы, ловите самогонщиков, а в дела прокуратуры не суйтесь. Не вашего ума это дело.

Шамин сдержался и, не повышая тона, ещё тише попросил:

– Алла Ивановна, разрешите тогда мне исследование по пистолету и гильзе провести.

– Шамин, ну почему вы такой упрямый? Я уже почти сделала отказной[1]…

Матвеева вздохнула и внимательно посмотрела большими оленьими глазами на эксперта:

– Ладно, так и быть. Я сейчас вам передам пистолет, чтобы вы сдали его дежурному, ну а дактоплёнки и гильзу я вам отдала для помещения в картотеку. Понятно?

«Красивая баба, – подумал Шамин, сбегая по высокому крыльцу прокуратуры, – ей бы детишек тетюшкать, а она здесь со всем этим человеческим дерьмом копается. А время-то пройдёт, и не успеешь оглянуться, как перестанут затаскивать в постель всякие разные начальники, и будешь и будешь стервенеть от жуткого одиночества, а ночами выть в подушку, проклиная судьбу. Замуж бы тебе, девоч-

---

[1] «Отказной» – постановление об отказе в возбуждении уголовного дела

ка, замуж, пока не поздно…». И вдруг неожиданно, словно продолжая мысль вслух, вырвалось:

– Замуж бы вам, Алла Ивановна…

Следователь от неожиданности вздрогнула, как-то беспомощно, словно защищаясь от удара, взглянула на него и залилась краской до самых мочек ушей.

«Эх, старый дурак, ну и сморозил же такую чушь», – подосадовал на себя Шамин и уже от дверей, словно извиняясь, произнёс:

– Спасибо вам, Алла Ивановна.

Из прокуратуры Шамин поехал на место, где нашли Гладышева. Машину оставил у подстанции, пешком прошёл к сирени, присел на обочину, закурил. Мимо пролетали равнодушные машины, обдавая пылью и ветром, а он, по привычке стряхивая пепел в ладонь, внимательно ощупывал взглядом траву, кусты и пытался представить, что же здесь произошло минувшей ночью.

– Вы меня извините, но мне кажется, я бы мог вам помочь.

Шамин вздрогнул и обернулся. Вчерашний понятой всё в том же куцем пиджачке щурил близорукие глаза. «А гражданские так руки держать не могут, только военные. Даже бывшие. Мы или в карман норовим засунуть, или за спину спрятать, или в бока воткнуть, а у него по швам, да и выправка офицерская. Стар-то стар, а спинка в струнку».

– Чем же вы мне поможете?

– Видите ли, мне очень не понравились ваши прокурор и следователь. Я, конечно, не специалист, но мне кажется, что они не профессионалы.

– Да нет, вы ошибаетесь, – слабо и не очень уверенно возразил Шамин. Он бы и рад согласиться с этим некстати появившимся стариком, да корпоративность не позволяла. И вообще он приехал сюда не лясы точить с первым

встречным, а дело делать. Вечно этим пенсионерам неймётся, вечно свой нос суют не в свои дела.

– Нет, нет, не спорьте, свежим глазом виднее. Впрочем, это ваше дело, я не настаиваю. Разрешите представиться: Андриянов Павел Николаевич, бывший полковник, бывший преподаватель Тульского артиллерийского, бывший потомственный военный. К сожалению, наследников по мужской линии не имею. Предки пожалованы в дворянство за дела ратные самой императрицей Екатериной Великой именным указом. Но это, впрочем, также значения не имеет.

Шамин уже с интересом смотрел на бывшего потомственного дворянина.

– Моя дача неподалёку, впрочем, какая дача – так, кошкины слёзы, – продолжал старичок. – Видите, во-о-он крыша зеленеет. Все почему-то красят в красный, а я в зелёный. Но, имейте в виду, к мусульманству это не имеет никакого отношения. Скорее, привычка, так сказать, к маскировке.

Шамин посмотрел в сторону, указанную отставным полковником, увидел вызывающе зелёную крышу садового домика и машинально прикинул расстояние. «Метров двести, однако. Пожалуй, далековато».

– Ничего подобного, – словно угадал его мысли старичок. – Это для вас далеко, а для меня, старого артиллериста, это не дистанция. Здесь часто ездят машины, – продолжал он. – Иногда, по вечерам, даже заезжают в рощу. Сами понимаете, дело молодое. Впрочем, это не имеет значения.

«Черт возьми, когда же ты перейдёшь к тому, что имеет значение, старая мельница!» – Шамина начинала раздражать манера старика всё время перескакивать на второстепенное.

– У меня, знаете ли, спина вчера разболелась. Возраст, ничего не попишешь. Вот я и сидел на крылечке. Сон не идёт, время позднее, а тут «голоса» такое говорят.

– Какие голоса? — Шамин напрягся. «Уж не шизик ли?»

– «Голоса», то есть радиостанции из-за «бугра». У меня ВЭФ[1]. Старенький, правда, я его в Риге в семидесятом покупал. Впрочем, это не имеет к делу отношения.

– Простите, а что всё-таки имеет отношение?

– Не торопитесь, молодой человек. Впрочем, это свойственно молодости. Так вот, около двадцати четырёх со стороны города легковая подъехала. За подстанцией остановилась, двигатель замолк, и свет выключили. Думаю, почему так? Мне с крыльца только фонари видны были, а потом и вовсе ничего. А ночь вчера лунная была, тихая. Минут через десять двигатель завёлся, и машина обратно в город поехала. Быстро очень, не так, как оттуда.

– Простите, я не понял, какая связь?

– Ну что вы, батенька, вы же сыщики, вы связь и ищите. Только та машина, что приехала и за подстанцией остановилась, там до утра и простояла. Вашего коллеги машина была. Он на ней и приехал. А та, вторая, в роще стояла. Видно, раньше приехала, но я её не видел. Вот так вот-с, милостивый государь.

– Из рощи, говорите? – майор напрягся. Вот оно что! Значит, ждали здесь Гладышева, с вечера ждали. Капкан поставили, а он в него и влез. Эх, Лёшка, Лёшка, что ж ты так подставился.

Эксперт легко сбежал с обочины, быстро прошёл к роще. Так, вот съезд с дороги, вот поляна. Место классное, с дороги не видно. Ага, масло подтекает у тебя, голубчик, вон сколько на траве осталось. Видно, часа два здесь простояли. Теперь отсюда к тем кустам, где Лёшку убили. Ищи, ищи, должен след быть.

Но следа не было. Трава успела за сутки выпрямиться.

---

[1] ВЭФ – переносной транзисторный радиоприёмник.

5

Ефим Аронович Симонович, пионер подпольного бизнеса, давно отошёл от дел. С тех пор, как встали на ноги Гарик и его ребята, начав по крупному щипать цеховиков и новых кооператоров, Симонович залёг на дно.

Сунувшимся было к нему крутым ребятам из гариковского окружения старик мягко посоветовал навести о нём справки в военкомате и пообещал отправить к архангелам Гарика вместе с пивбаром, если с его роз упадёт хоть один лепесток.

На всякий случай Гарик выяснил, что Симонович не просто старый еврей, а бывший командир разведроты знаменитой восемнадцатой армии, причём к сорок пятому у него орденов и медалей было раза в два больше, чем у боевого полковника, о существовании которого он узнал лишь из «Малой земли». Выяснил Гарик и то, что в восемьдесят первом у Фимы, как за глаза прозывали Симоновича, провели грандиозный «шмон»[1], подвели под «примовскую»[2], но хитрый еврей рванул в совет ветеранов. Кто-то что-то сказал на самом верху, и дело тихо спустили на тормозах.

Не докопался Гарик только до одного: вытащил тогда Симоновича молодой следователь, начав раскручивать дальше и докопавшись, что он совсем не крайний, что пустили его за паровоза и что вообще должны сидеть другие. Он-то и надоумил его прикрыться именем всесильного однополчанина.

Тем следователем и был Шамин.

И теперь майор не случайно навестил пенсионера в его уютном домике.

---

[1] Обыск

[2] «Примовская» – ст. 93-I УК РСФСР (хищение в особо крупных размерах; санкция статьи предусматривала наказание вплоть до смертной казни)

– Послушайте, Саша, ви напрасно думаете, что старый еврэй Фима может быть вам полезен. Я мало что знаю. Сейчас другие времена и нравы. Нет чистого бизнеса. Эти костоломы только и могут, что трясти бедных людей.

– Ефим Аронович, положим, трясут они не таких уж и бедных. – Шамин хитро улыбнулся.

– Зато как трясут! Разве так можно! Саша, ви же умный человек. Мы нужны нашему бедному государству, как воздух. Природа не терпит пустоты, а деловые люди её заполняют.

– Ну а костоломы, как вы выразились, восполняют пробелы налоговой службы.

– Нет, Саша, просто большим людям нужно пополнять свой бюджет, раз государство им мало платит. – Симонович прищурился поверх сдвинутых на кончик острого носа очков. – Вас интересует, кто призвал туда, – он поднял вверх тонкий, с ухоженным ногтем, палец, – вашего коллегу, не так ли?

– Ефим Аронович, вы ясновидец.

Симонович усмехнулся.

– Саша, я этого не знаю. Но старый еврэй Фима Симонович знает, что деньги стекаются к Гарику, а тот делится и с вашими коллегами и теми, кто стоит выше. Мой вам совет: не лезьте сюда, ви ничего не сделаете, только погубите себя. У них всё схвачено. Все хотят вкусно кушать. Ваш парень кого-то здорово напугал и поплатился за это.

– А кого, Ефим Аронович?

– Ви много хотите от меня знать, Саша. Я не провидец, я долго живу на этом свете. Так долго, что уже устал жить. Но вы ещё молоды, и вам ещё надо жить. Я вам дам просто маленький совет: присмотритесь к начальнику ОБХСС[1] Кошаренко. Умный мальчик, он далеко пойдёт,

---

[1] ОБХСС – отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности. Структурное подразделение в районном отделе милиции.

если его вовремя не остановить. Он не понимает приличия, и на него очень обижаются деловые люди. Всё, больше меня ни о чём не спрашивайте. Я хочу умереть своей смертью, Саша.

– Ефим Аронович, я вам гарантирую гвоздики на вашу могилу, если, конечно, переживу вас.

– Я не люблю гвоздики, Саша, они слишком официальные. А какие цветы предпочитаете ви? Возможно, старый еврэй Фима первым уронит слезу по вас, как говорили в старой, доброй Одессе.

– Розы, только не красные. Красные – это слишком пошло. Белые розы, Ефим Аронович. И обязательно с капелькой росы. Кругом столько грязи, а они белые.

– У вас хороший вкус, Саша, – Симанович с затаённой грустью посмотрел на Шамина и вздохнул. – Но я не хотел бы их вам принести. Уж лучше ви мне эти чёртовы гвоздики.

6

Людей на похоронах было мало. Начальник райотдела однозначно дал понять, что на кладбище сотрудникам делать нечего. Самоубийц даже церковь не хоронит, а тем более сознательные офицеры. И назначил на два часа рейд.

На похороны Шамин опоздал и на кладбище пришёл, когда там уже никого не было.

У обнажённого желтовато-красного пятна свежей глины на опрокинутом ведре сидел Баруздин. У ног стояла начатая бутылка водки и стакан с отбитым краем.

Не глядя на Шамина, он молча плеснул в стакан, отломил корочку хлеба и протянул:

– Давай, майор, за Лёшку.

Эксперт опрокинул в себя водку, выдохнул, понюхал корочку и аккуратно положил её рядом с бутылкой.

– Выбирай местечко, Петрович, – Баруздин неопределённо от плеча широко обвёл рукой вокруг. – Тут ещё места хватит.

– Набрался уже? Пошли домой.

– Я сейчас трезвее, чем до того, как открыл её. – Женька потянулся к бутылке, вылил остатки водки в стакан, залпом выпил, помотал головой.

– Не берёт, чёрт, настрой не тот. Ладно, пойдём.

Уже за воротами кладбища Баруздин, прикуривая, сказал:

– Я тут вчера кое с кем перемолвился. Оказывается, Гарику по распоряжению самого, – он поднял указательный палец вверх, – создали режим наибольшего благоприятствования. Ребята из налоговой там такого накопали, что наверху сразу же волну погнали и их шеф зажёг красный свет. Я так понимаю, что рот им закрыли не зря. Тогда кто-то из них утечку сделал в ментовку. Информация попала к Лёшке, да, видно, прознал про то Кошаренко и стал из него жилы тянуть. Ну, ты Гладышева знаешь: пока до конца не размотает клубок, хрен от него слова добьёшься.

Опять Кошаренко! Не слишком ли часто за последние сутки выплывает эта фамилия? Протеже начальника и дальний родственник замполита, лет пять назад пришёл он на «укрепление кадров по партийной мобилизации» из управления торговли. Через год стал старшим, а ещё через год непосредственного начальника отправили на пенсию, и Кошаренко прочно воцарился на доходном месте.

– На помины пойдёшь?

– Да нет, я тут с Галкой повидался, сказал, что сами помянем. Ну что сердце рвать, и так муторно до тошноты,– Баруздин сунул пустую бутылку в карман и тяжело поднялся. – Пора мне, работа ждёт.

– А я, пожалуй, пойду. А то неудобно как-то: на похороны опоздал, на помины не пришёл. Не по-нашему это, не по-русски.

Поминки закончились, гости разошлись, и только Шамин курил на кухне, не зная, с чего начать разговор с Галиной.

Она, словно догадавшись, подошла сама и протянула сверток майору.

– Не мог Лёша застрелиться. Неправда это. Убили его, Саша, – и заплакала, но уже тихо, без надрыва. – Вчера приходил Кошаренко, спрашивал какие-то документы. Им, наверное, этот свёрток нужен. Не отдала я ничего, сказала, что ничего он домой не приносил. А ты возьми, тебе Лёша верил.

7

Вернувшись домой, Шамин закрылся на кухне – к чему его заботы домашним – и развернул пакет. Схемы, сообщения, копии документов, опять схемы и опять сообщения, фамилии, факты, связи...

Не верилось, что всё это сумел собрать один человек. Обладатель такой информации был не просто опасен. Он был смертельно опасен, а потому изначально обречён.

Шамин полистал записную книжку Гладышева. Столбики цифр, чьи-то инициалы, номера телефонов.

«Да, здесь и за неделю ладу не дашь, – с угасающей надеждой подумал Шамин. – Сам чёрт ног сломит в этих записях. «Мытарь. “Зодиак”. 13-00» Так, ну это понятно, скорее всего, встреча с кем-то из налоговой в «Зодиаке» в обед. Точно, Лёшка не пошел в тот день с ним в столовую, как всегда, а сослался на срочность какого-то дела».

Последняя запись насторожила: «Жоржик, схема». Ни времени, ни даты, ничего. «Жоржик, схема. Жоржик,

схема…», занозой застряло и уже свербело, закручивало, учащённо забилось сердце. Так вот к кому ехал в ту ночь Гладышев!

Отпечатки пальцев со ствола и обоймы магазина Гладышеву не принадлежали. Пуля была выпущена не из его пистолета, но вот гильза – его. И в стволе следы нагара.

Эксперт задумался. Не сходятся концы, не стыкуются. Хотя почему же? Во-первых, стрельбы были во вторник, труп нашли в среду, пистолет, конечно, не чистился, а гильзу просто подбросили. Логично? Вполне. Но в таком случае убийца должен быть из своих. Своих? Да какие они свои, одна только форма милицейская, а нутро у половины шакалье.

От сознания, что оборотень, убивший Гладышева, находится рядом, жмёт каждое утро руку, улыбается, заглядывает в глаза — свой в доску, стало горько.

Может, действительно бросить всё, лечь на дно, разводить цветочки и не становиться на их пути? Прав Женька, сотрут в порошок, следов не останется. Как ни крути, а хозяева жизни всё-таки они, жадные, циничные, наглые. Ничего не боятся. Постой, почему не боятся? Напугал же их Гладышев, очень даже напугал. И тебя они боятся, и Баруздина, потому и выперли его из ментовки, и тех, кто шапку перед ними не ломает и головы не гнёт, тоже боятся.

Слабое утешение, ну да ладно. С кого же начать? С Кошаренко? На стрельбах он возле Лёшки, стервец, крутился, ему легче всего было гильзу от его пистолета подобрать.

Шамин достал из шкафа бутылку минеральной и стакан, протёр фланелькой, поставил на стол. «Ну что же, приступим. Стол накрыт, господа, прошу». И эксперт снял трубку внутренней связи.

– Привет, Виталий Игнатьевич. Не зайдёшь ко мне на минуточку? Дело есть.

Кошаренко появился минут через пять.

– Чем могу служить славной криминалистической науке?

Шамин из-под очков внимательно смотрел на коллегу. «Весело? Ну-ну, а глазки-то напряжены, паренёк. Никак, боишься чего-то?»

– Да какая там наука, Игнатьевич, так, слёзы одни. Тут, понимаешь, какое дело. Из управления проверка приезжает, использование кримтехники проверять, а за тобою ничего не числится. Ты уж возьми себе что-нибудь, выручи старика, а то до пенсии не дотяну, сократят за ненадобностью.

Кошаренко расслабился, снисходительно усмехнулся, налил полный стакан и с жадностью выпил.

– Хороша! Где брал?

– Старые запасы. Я тебе флаконов для маркировки положу и анализаторы по наркотикам. Только ты их не распечатывай.

– Ладно, ладно. Всё равно я в этом ни черта не смыслю. Мне ж вот этим работать приходится, – бэхээсник постучал себя пальцем по лбу. – Не то что тебе со своими железяками.

– И то правда, Виталий Игнатьевич, мы раньше-то как? Прижали в розыске, печёнку ребята пощупали, злодей и раскололся. А у вас цифирьки, документики, да всё сопоставить надо, в схемку выстроить. И не с уголовничками, как мы, а всё больше с интеллигенцией работать приходится. А это народ особый, конституция тонкая. С ними обходительность нужна, подходец. В душу залезть, слезу вместе пустить, а уж потом и к ногтю можно.

Шамин играл придурковатого служаку, понимающего дистанцию между собой и начальником БХСС. Улыбаясь, подобострастно трогал его за рукав и с нетерпением ждал, когда он уйдёт.

Оставшись один, эксперт быстро убрал в шкаф стакан и бутылку, которых касались руки Кошаренко, поставил на стол другие, открыл новую бутылку и вылил в цветок на окне ровно столько, сколько выпил гость. Затем стал на стул, настроил на полке зеркало на стол, замаскировав его среди бесчисленных коробок. Должен вернуться Кошаренко, непременно должен, если Лёшкина смерть на его совести.

Дверь скрипнула, и на пороге появился Кошаренко.

– Я тут у тебя ручку не оставлял?

– На столе посмотри. – Шамин, не оборачиваясь, что-то искал в дальнем углу полки, напряжённо следя в зеркало.

Кошаренко подошел к столу, для вида приподнял бумаги, а затем носовым платком быстро протёр боковые поверхности стакана и бутылки. Вынув из кармана ручку, нагнулся под стол.

– Да вот же она, чёрт возьми, ишь, закатилась. А ты всё копаешься?

– А куда денешься, проверка всё-таки.

– Ладно, готовься. Ни пуха тебе, ни пера.

– К черту.

Через час эксперт твёрдо знал: отпечатки пальцев на стволе и обойме пистолета Гладышева оставлены начальником БХСС капитаном милиции Кошаренко.

Вечером он сидел у Баруздина в гараже и, как пасьянс, раскладывал перед Женькой доказательства:

– Что мы имеем? Во-первых, пуля, извлечённая из тела Гладышева, не была выпущена из его пистолета. Во-вторых, гильза, найденная у трупа, была от пистолета Гладышева. Следовательно, должна быть ещё одна гильза, но её на месте происшествия не было.

– А ты хорошо смотрел? – перебил Баруздин.

– Не было её там, Жень, не было. Либо с собой унесли, либо…

– Что-либо?

– Не знаю. Был бы наган, тогда понятно, а так… Даже не знаю. Есть, конечно, револьверы и под пээмовский патрон. Тот же «бристоль-бульдог», но ему уже в обед сто лет будет. Их днём с огнём не сыщешь. Это ж вам не Англия, это Расея. Ладно, поехали дальше. Есть у нас пальчики Кошаренко, но пока нет свидетеля. И сдаётся мне, что может скоро и не быть.

– Пожалуй, пора и Жоржика навестить, а, как думаешь? – Баруздин вытер ветошью промасленные руки и встал.

– Вот теперь пора. Только давай до утра подождём, его из дома брать надо, а сейчас он наверняка где-то тусуется.

8

Проснулся Жоржик поздно. Накинув махровый халат и обвязав голову мокрым полотенцем, бесцельно бродил по комнатам. После вчерашнего кутежа голова раскалывалась, а во рту от выкуренных сигарет было так мерзко, словно он всю ночь сосал медную дверную ручку.

Достав из холодильника пиво, Жоржик в один присест вылил в себя содержимое и отбросил пустую банку в угол. Полегчало. Откинувшись в мягком кресле, включил «видик» и открыл вторую банку.

С минуты на минуту должен появиться Бацила, и надо ехать к этому толстому жиду, что открыл лавку на рынке, а по таксе платить, падла, не желает. Ничего, они ему перца на хвост насыпят, сморчку.

Трель дверного звонка извлекла Жоржика из уютного кресла. Допив на ходу остатки пива, постанывая, потащил своё обрюзгшее тело в коридор.

Сбросив цепочку, Жоржик щёлкнул замком, и тотчас дверь сама распахнулась, бесцеремонно прижав его к стене. Удар в переносицу бросил на пол. Кровь брызнула, за-

лив халат и роскошный палас. От удара носком в живот перехватило дыхание, и Жоржик тонко заскулил. Чьи-то руки стальным обручем тиснули плечи, рывком подняли его с пола, и хлёсткий удар в челюсть переместил гариковского помощника из прихожей в зал.

Разлепив заплывающий глаз, Жоржик увидел Баруздина и незнакомого майора в милицейской форме.

– Вы что? Что вам надо? – Жоржик похолодел от ужаса.

Баруздин вытащил из-за пояса револьвер и больно прижал ко лбу. Жоржик заверещал.

– Не скули, падаль. Или ты сейчас поедешь с нами, или я тебя кончу здесь из этой штуки. Понял?

Жоржик знал Баруздина, этого безбашенного психопата, вышибленного из ментовки из-за Гарика, и не сомневался, что тот выполнит угрозу, поэтому согласно замотал головой.

Машина стояла у подъезда. Шамин открыл заднюю дверцу и втолкнул Жоржика, сев рядом. Баруздин включил зажигание, и «Жигулёнок» резко взял с места.

Ни эксперт, ни Женька не заметили двух чёрных глаз, внимательно следивших за ними из телефонной будки.

Через две минуты Гарик уже знал, что Баруздин и какой-то милицейский майор увезли Жоржика на красной «шестёрке».

– Сейчас ты нам, гад, споёшь сольную партию, – Баруздин ненавидяще буравил Жоржика серыми глазами.

– Я ничего не знаю! Что вы от меня хотите?!

– Ты убил нашего друга Лёшку Гладышева, мразь, и мы тебя сейчас будем судить, – Баруздин подкатил крупный валун и стал привязывать к нему верёвку.

Жоржик завыл и упал на колени.

– Заткнись, – майор с носка ударил Жоржика в лицо, и тот завалился на бок, размазывая по траве кровь.

Шамин повернулся к Баруздину:

– Давай быстрей, пора кончать. Бросим туда, – и показал в сторону отстойников.

– Нет, нет, не надо, я всё расскажу, – Жоржик плакал и скулил, ползая на коленях и тыкаясь лицом в траву.

– Я ничего не хочу знать! – Баруздин с отвращением ещё раз ударил его ногой в бок, и тот опять опрокинулся на спину. – Мне достаточно того, что ты убил!

– Да нет же, нет! Не я! Это всё Кошаренко! Поверьте, товарищ майор! Простите, гражданин майор! Это всё Кошаренко!

Баруздин подтащил камень и стал привязывать к шее Жоржика, мигнув Шамину.

– А ну-ка, Жень, подожди.

– Нечего ждать, кончать его надо, и всё тут, – Баруздин приподнял Жоржика, и тот заверещал дурным голосом.

– Подожди, – Шамин остановил Баруздина. – Пусть говорит.

– Кошаренко сказал, чтобы я позвонил Гладышеву и назначил встречу у старой подстанции, пообещав передать ему списки тех, кто платит нам и сколько. Я ему сказал, что хочу завязать с Гариком, но боюсь его. Не убивал я его!

– Пой, сука! – Баруздин тряхнул Жоржика, и у того клацнули зубы.

– Мы приехали раньше, и Кошаренко спрятался в кустах. Он сказал, чтобы я отошёл в сторону, когда Гладышев подойдёт ко мне. Это он стрелял! У него револьвер был под пээмовский патрон. Я ничего не знал! Я не знал, что он хочет убить Гладышева.

«Так вот почему не было гильзы от патрона. Она в барабане осталась», – машинально отметил Шамин.

Когда Жоржик закончил, эксперт деловито выключил магнитофон, прислонился к машине и закурил.

– Тебе бы, Жень, только в цирке работать.

Обыграли они его классно, но удовлетворения не было. Жоржика подняли, но тот опять сполз по стволу старого дуба на траву. Баруздин швырнул ему тряпку:

– На, вытрись. И запомни, падаль, сейчас мы поедем к областному прокурору, и там всё ему расскажешь. Иначе я сам буду тебе и суд, и прокурор. Понял?

– Да, да, я всё расскажу.

Баруздин рывком поднял плачущего Жоржика, отсёк ножом верёвку с камнем и сунул головой в салон.

Уже перед самым городом у поста ГАИ увидели две патрульные машины и несколько сотрудников. Один из них шагнул на дорогу и властно взмахнул жезлом. Баруздин сначала притормозил, а затем, заложив вираж, обогнул гаишника, вдавливая педаль газа в пол до отказа.

– Прости, дружок, не могу, груз доставить надо. Я ж не знаю, кто тебя здесь поставил и зачем.

Старшина повернулся к офицеру.

– Догнать?

– Не надо, на обратном пути встретим.

У входа в областную прокуратуру машина резко осела. Баруздин за руку выволок Жоржика, всё ещё ошалело вращающего головой, и потащил к двери. Дежурный на вахте милиционер сунулся было из-за барьера, но, увидев офицера, замешкался. А Баруздин уже волок Жоржика по лестнице наверх.

В просторном холле второго этажа столкнулись с пожилым мужчиной в простеньком сером костюме, очках в тонкой золотой оправе и большой проплешиной до самой макушки. Наверно, видеть подобного ему на этажах областной прокуратуры ещё не приходилось, и он остановился.

– Что это значит?

– Где здесь областной прокурор? — Баруздин не собирался отчитываться перед каждым встречным.

– Он в командировке, его нет.

– Тогда нам нужен заместитель.

– Я заместитель. А что, собственно, случилось?

Шамин выступил вперед.

– Я очень прошу пройти в ваш кабинет, и там мы всё объясним.

Мужчина пожал плечами и показал на дверь. Толкнув Жоржика в угол кабинета на свободный стул, Баруздин остался стоять у дверей, а Шамин сбивчиво, путаясь, стал объяснять.

– Спокойно, товарищи, я всё понял. Мы немедленно возьмёмся за этого мерзавца. А вы поезжайте к себе, отдохните, и завтра к девяти прошу быть в районной прокуратуре. Там уже будут наши сотрудники. Всего хорошего и, прошу вас, больше никакой самодеятельности. Вы и так уже наворочали, – зампрокурора небрежно кивнул на съежившегося в углу Жоржика. – Ну да ладно, с этим обойдётся.

Когда машина тронулась, он отошёл от окна и набрал номер:

– Они только что были здесь и оставили этого. Да, да, красные «Жигули», да, номер этот. Да, да, хорошо, всё.

Затем ещё раз снял трубку.

– Иван Петрович, тут у меня гражданин сидит. Я ничего не могу понять. Зайдите, пожалуйста.

В дверях показался усталого вида моложавый мужчина.

– Его избили работники милиции, – заместитель показал на сжавшегося в углу Жоржика. – Это по вашей части. Я в этом ни черта не смыслю.

Когда мужчина увёл Жоржика к себе, зампрокурора достал из стола табличку, подошел к двери и прикрепил её. Затем он заботливо провёл рукой по надписи: «Зампрокурора области по хозяйственной части Попов К.З.», усмехнулся и пошёл в буфет.

9

– Давай-ка на вокзал, — Шамин облегчённо вздохнул и откинулся на спинку.

В камере хранения выбрал ячейку, записал шифр и номер, положил свёрток, хотел захлопнуть дверцу, но, подумав, вытащил кассету и положил в карман.

– Жень, заверни в управление.

Начальника областного управления внутренних дел на месте не оказалось, и тогда Шамин, запечатав кассету и листок с номером и шифром ячейки в конверт, подал дежурному:

– Слушай, друг, передай, пожалуйста, генералу. Очень прошу.

На посту ГАИ офицер жестом приказал остановиться. Баруздин свернул на обочину, улыбнулся.

– Всё, сдаюсь, на мои права.

Офицер взял права, положил к себе в карман, заглянул в салон и попросил Шамина проследовать в помещение для составления протокола.

Минут через пятнадцать, закончив формальности и получив права обратно, Баруздин лихо вывернул на трассу и дал газ. На щебёнке, где только что стояла его машина, тускло блестела лужа тормозной жидкости.

– Давай, Женька, жми. У меня дома пиво с таранкой есть, мы сегодня заслужили.

Дорога то ныряла, то карабкалась в гору, но Баруздин, выжав акселератор до пола, наслаждался скоростью.

На спуске из-за поворота вынырнул «КамАЗ» и пошёл по центру, стремительно приближаясь. Баруздин сбросил газ, нажал на тормоз, но нога свободно провалилась, не ощутив упругости.

– Всё-таки достали нас, гады...

Начальник управления вернулся к вечеру. На вахте дежурный старшина протянул конверт.

– Тут вам, товарищ генерал, передали. Просили – очень срочно.

– Кто?

– Да из района майор, Шамин фамилия.

Генерал поднялся к себе, снял китель, аккуратно повесил на спинку стула, распечатал конверт. На стол выпала кассета и листок с цифрами.

Закончив прослушивание, генерал минут пять сидел молча, тяжело обхватив голову руками, потом нажал клавишу селектора.

– Возьми всех своих и сейчас же зайди ко мне.

Через несколько минут в кабинет вошли начальник «шестёрки»[1] со своими сотрудниками, и генерал молча включил магнитофон.

Утром, привычно просматривая сводку сообщений, он споткнулся на строчках: «...на 12 км автодороги... водитель автомашины «ВАЗ-21013» госномер ... Баруздин Е.И. не справился с управлением, выехал на обочину и опрокинулся, в результате чего он и пассажир Шамин А.И., майор милиции, были смертельно травмированы...».

Генерал, оборвав чтение, с силой впечатал кулак в столешницу и глухо выматерился.

В этот же день шестой отдел начал аресты.

Ефим Аронович слово сдержал, и на другой день после похорон на могилу Шамина легли белые розы с крохотными капельками-слезинками на лепестках.

1991 г.

---

[1] «Шестёрка» (шестой отдел) – в описываемый период отдел УВД по борьбе с организованной преступностью.

ХАНДРА

Море слегка штормило, астматически дыша и ворчливо ворочая грязновато-жёлтыми лапами измельчённую в песок ракушку полупустынного пляжа. Сентябрь смахнул с побережья добрую половину отдыхающих, и сразу крохотными островками забелели свободные топчаны, и исчезла толчея у павильонов, и пульс курортной жизни стал более размеренным, но не менее насыщенным. И хотя посёлок накрыла как бы полудрёма, но в воздухе по-прежнему витало влечение мужчин к женщинам и женщин к мужчинам – этот вечный животный зов природы, зов разгорячённого солнцем, взглядами и ощущением свободы тела, зов и разрушающий, и созидающий.

Можно было бы завести необременительный флирт с кем-то из отдыхающих, внешне неприступных, но с зовущим блеском глаз, оставивших где-то далеко в той, старательно забытой на целый месяц жизни занудный быт, пресного мужа, опостылевшую кухню, шипящую свекровь, детские проказы и жаждущих обжигающей страсти и пронзительного, с надрывом, со стоном**,** пусть и мимолётного, но всё-таки счастья, мгновенного, как вспышка, ожог молнии, солнечный удар.

Можно было бы без особого труда снять какую-нибудь смазливую шлюшку из числа городских дурочек, насмотревшихся «мыла» и теперь активно осваивавших побережье в поисках счастья.

Можно было бы подцепить кого-нибудь из местных аборигенок с грустными коровьими глазами, жаждой непременного замужества и гарантированным борщом на обед, но это уже на весь отпуск, иначе без театрального заламывания рук, истерики и обвинений не обойтись.

Можно было бы склеить для вечера хотя бы вон ту томную шатенку с роскошным, зовущим телом в раздель-

ном купальнике, старательно изображающую трогательную заботу о славном мальчугане и исподволь, словно невзначай, скользящую взглядом опытной суки по редким экземплярам сильной половины, выискивая самца.

Но мы, четверо грешных, потёртых жизнью особей мужского пола, предпочли сегодня дюжину пива и початую колоду карт в примостившемся у самой кромки берега приземистом коттедже.

Мы – это Боря Левитин, по прозвищу Нептун, излазивший в своём скафандре моря Леванта и списанный вчистую на берег по случаю кессонки[1]. И не было на всём побережье весомей слова, чем слово Нептуна. Даже сам начальник поселковой милиции, прозванный Наждаком то ли за шершавые, в мозолях и шрамах, ладони, то ли за скрипучий, напрочь отсыревший голос, гроза шпаны и местных контрабандистов, при встрече первым подавал ему руку.

Ежегодно море забирало жертву, взамен щедро расплачиваясь судаком и кефалью. Борька ещё размазывал сопли маленьким, в цыпках, кулачком, когда море приняло в себя его отца, лучшего рыбака западного побережья. Он ушёл молодым, а Борькина мать, состарившись на берегу, каждый вечер из года в год выходила к морю и подолгу смотрела вдаль.

Волна крадучись выскальзывала на отлогую отмель, мягко и нежно облизывала ступни её босых ног, словно зализывая раны и извиняясь за причинённую боль.

Когда двадцать лет спустя сорванный клапан вдруг стравит воздух в скафандр и Нептуна, как воздушный шарик, рванёт вверх из вязкой и чёрной толщи воды, а из ушей, носа и рта хлынет кровь и зашторит пеленой сознание, материнское сердце вдруг пронзит боль.

---

[1] Кессонка – кессонная болезнь, вызываемая у водолазов неправильным подъёмом из глубины.

Списанный за ненадобностью Нептун полгода проваляется по госпитальным койкам, пройдя чистилище адскими болями. А вот стылость глаз жены, лишённой импортного тряпья и легального источника баксов, возникшие отчуждение и чувство своей обременительности пересилить не смог. Забрав только книги и инструменты, кинул якорь в истосковавшемся по мужским рукам отцовском доме, словно списанный корабль у стенки старого дока.

Нептун – это не столько интеллект, хотя этого у него не отнять. Нептун – это мужская сила абсолютной надёжности, которая чувствовалась во всём: и в посадке головы, и во взгляде, и в походке, и в словах, простых, но произносимых как-то особенно веско.

Мы – это Вовка Ардашев, последний носитель уничтоженной Окгябрьским[1] штормом дворянской фамилии, кандидат каких-то запредельных наук из бывшего почтового ящика, а ныне инженер рыбколхоза, обладатель чудных цвета южной ночи бархатистых глаз, лихой атакой покоривший сначала сердца доверчивых провинциалок, а затем методично, из года в год, завоёвывающий прекрасную половину, нашедшую временное пристанище в разбросанных вдоль побережья пансионатах.

Фасад посёлка, отличавшийся внешне приличествующей времени нравственностью, с появлением Ардашева дал трещину. И ни слёзы жены, ни осуждающий ропот поселковых матрон, не отличавшихся, впрочем, в далёкой молодости пуританством, ни даже недвусмысленные угрозы мрачных рогоносцев не могли остудить его неукротимый пыл мартовского кота.

Мы – это Лёшка Крабов, а короче, Краб, забавный мужик с огромными клешнястыми лапами, свисающими до колен, и классическим способом передвижения мастера спорта по греко-римской борьбе левым плечом вперёд и

---

[1] Октябрьская революция 1917 года.

вниз. И своей набыченной головой со взглядом исподлобья, и своими опущенными плечами Краб здорово походил на нашего общего доисторического предка, дай только ему в руки дубину и набрось на плечо и бёдра шкуру. Краб принципиально не пошёл ни в рэкет, ни в охранники, ни в ментовку, хотя и там, и там были свои кореша, с завидным постоянством отстреливающие друг друга.

Алексей Петрович Крабов, послав всех и вся в Бога, душу, мать, прикатил на мятом "Жигулёнке" из пропахшего левой водкой, наркотой и углем Донецка позапрошлым летом и с тех пор сутками пропадал в ажурном от ветхости эллинге с ныряющими в море стапелями, латая потрёпанные штормами катера и баркасы.

Вообще-то Краб – это история, легенда, коктейль из аплодисментов, пота, жесточайшего режима до самоистязания, золота Европы, экзальтированных поклонниц и бывшей жены Люси, стервозной бабёнки с сексапильной попкой, бесконечными истериками и адюльтерами при каждом удобном и даже неудобном случае. В финале был Арон Моисеевич, режиссёр местной телестудии, супружеское ложе Краба, пикантная сцена на тему «Мы вас не ждали» и «Только не в лицо!», мосластый крабовский кулак, исполнивший заключительный аккорд на семитском носике Арона, сделавший из него приличную сливу, благородный жест в сторону коварной, теперь уже бывшей, половины в виде трёхкомнатной квартиры со всем антуражем, и вялотекущая судебная тяжба о разделе оставшейся у Лёшки машины.

Мы – это, наконец, я, достаточно сытый адвокат, стригущий приличные бабки в областной адвокатской конторе, в летнем белом костюме от Версачи, сшитом в Могилёве из местного льна, голдовом цепуре на загоревшей до бронзы шее. Короче, средних лет фартовый кореш в приличном прикиде. Ну а если небрежным мазком кисти ху-

дожника добавить приличный "мерс" цвета какао с молоком, вздрогнувший, как от электрического разряда, пляж и рванувшиеся навстречу флюиды прекрасных амазонок, картина будет почти завершённой.

Мы – это четвёрка закадычных друзей ещё со школьной скамьи, волей судьбы вновь оказавшихся вместе.

Из всех четверых я был самым ухоженным со всеми атрибутами крутизны и шальными бабками в портмоне. Но всё это внешний лоск, накипь, мишура.

Из всех четверых я не имел уверенности в своей правоте Краба, основательности Нептуна и жизненной лёгкости Ардашева.

Из всех четверых лишь я один не видел смысла жизни.

Из всех четверых только я не смог удержать (или не захотел – впрочем, какая разница) удар судьбы. Краб послал сексуально одержимую половину в свободное плавание, с упоением уйдя с головой в железный лом, по недоразумению именуемый плавсредствами. Нептун в часы хандры зарывался в дебри философских трактатов, находя ответы на все жизненные вопросы, а Вовка глушил тоску в упоении страстью. Лишь я, как экзальтированная институтка, отвергнутая возлюбленным, занимался душевным самоистязанием. Захлестнувшая обида не оставляла иных вариантов выхода из тупика, кроме героической смерти непременно на её глазах либо балансирования на грани жизни и смерти во власти фортуны.

Первое исключалось по двум причинам: войны в обозримом будущем на побережье не предвиделось, а та, из-за которой я оказался здесь, была довольно далеко. Впрочем, в её жизни я занимал места столь ничтожно мало, что моё исчезновение прошло бы просто незамеченным.

Если тебя не любит женщина, та, единственная, без которой мир тускл и сер, если ты одинок и вселенская тоска загнала в этот скучный приморский посёлок, до белизны

вылизанный изнуряющим южным солнцем, то вряд ли карты, пиво и просоленная ершистая компания выведет из тупика, в который сам себя загнал. Нужна была встряска, ощущение опасности, револьвер у виска с одним патроном в крутящемся барабане, выброс адреналина в кровь с холодным потом, ознобом между лопатками и лапающим сердце страхом. И этой рулеткой могло стать только море, свинцовое, штормящее, таящее опасность. Жадно дыщащий зверь в предвкушении жертвы. Ворочающая тысячи тонн воды стихия, неподвластная человеческому разуму, схлестнуться с которой в смертельной схватке было единственным выходом.

Моя идея идти за кефалью восторга не вызвала. За те часы, пока мы отрешённо метали карты, запивая пивом, море успело рассердиться. Нептун, швырнув через плечо в открытую дверь опорожнённую бутылку и прищурив рыжий крапчатый глаз, проскрипел подсевшим басом:

– Раз тебе надоело жить, то это твоё личное дело. Вообще-то процесс утопления не обязательно должен носить публичный характер. Дуй на волнорез и махни башкой на камни, только на поминки оставь, а то свои кровные на всяких неврастеников тратить не климатит.

Борька, философ по жизни и любитель завернуть так, что Краб, мужик простой, как струганная сосновая доска, начинал сопеть, потеть и скрести стриженую макушку, тщетно пытаясь извлечь какую-либо соответствующую мысль, на этот раз был прав, хотя и изъяснялся не в правилах изящной словесности. В такое море действительно ходят только самоубийцы, а он был хоть и не всегда трезвым, но всё-таки трезвомыслящим, ценившим даже такую паскудную жизнь, как наша.

Итак, Нептун не союзник.

Щёлкнув колодой, раздал карты. Мне чертовски шла масть, и я вновь сорвал кон.

– Дай борт, сам схожу, – я с надеждой взглянул на Ардашева. – Страховка в сумке, если что, на два твоих корыта хватит.

Носитель расстрелянной фамилии пожевал мундштук погасшей сигареты, коротко взглянул сквозь дверной проём на беснующиеся валы и зашёл с двух десяток.

– Не стоит, старик, море и впрямь тяжёлое даже для меня. Уж лучше тёлок снимем и махнём на Стрелку. На борту моей шаланды есть музон, выпивон и закусон, а что ещё для счастья надо? Гарантированный безопасный секс или гарантированная экскурсия на дно. Выбирай, что душе угодно.

– Второе, – я сбросил двух тузов, и Нептун чертыхнулся.

Краб дососал из горлышка янтарную жидкость, с сожалением проник взглядом в глубину бутылки, казавшейся в его волосатой лапе изящным и хрупким бокалом, и отшвырнул её за дверь.

– Фартит камсе, – Краб порылся в карманах, наскрёб мелочь, встряхнул её на ладони и ссыпал обратно. – Я в дрейфе. А что, может, и вправду махнём? Это ж полный штиль по сравнению с мартом. Подфартит, рыбку в Мариуполе толканём, бабки заведутся, а мне ещё и новый карбюратор купить надо.

– Я пас, – Нептун давил форс, но в голосе уже улавливалось предательское колебание. Вторую неделю он сидел без гроша в кармане, а жить в долг, по его понятиям, занятие довольно паскудное.

Володька поёрзал. Вчера у него завязался бурный роман с Маринкой из Воронежа, и жертвенный костёр за сутки проглотил скудные ардашевские заначки. Сегодня его опять ждала неистощимая в фантазиях очередная избранница сердца, и на предстоящий вечер уже зафрахтованы в долг у меня зеленовато-жёлтая «Канея», джентльменский

набор экзотических фруктов и флакон французских духов «Ричи», весьма прозрачно смахивающих на очередной шедевр фабрики «Свобода».

– Фраера дешёвые, сквозняка испугались. Ладно, дышите глубже, найду посудину и без вас. «Мерс» затарим, улов оптом в городе сбагрим и покуролесим напоследок, – я нарочито равнодушно потянулся и резко встал.

– Ладно, не мельтеши, – Нептун перетасовал колоду и сунул в карман. – На моём пойдём и на Вовкином.

Ветер не стихал, и приходящие из-за горизонта шеренги волн с белыми гребнями одна за другой назойливо устремлялись к берегу, чтобы бесславно разбиться о каменные клыки волнорезов. Бросив на стремящееся вырваться из-под ног днище вмиг отсыревшие сети, я с надеждой взглянул на низкое, давящее, словно просевший потолок, небо со снующими сине-чёрными облаками.

И для Нептуна, и для Ардашева, и для Краба предстояла обыденная работа, и каждый из них сноровисто и деловито, без лишней суеты, делал своё дело. Мне же было плевать на всю кефаль всех морей вместе взятых. Меня била бисерная дрожь азарта в предвкушении схватки с этой страшной силой. Это был обет, зарок самому себе: одолею, значит, дальше будет всё нормально, а нет – видно, не судьба, слабым не место в этой жизни.

Вытаскивая отяжелевшие сети, раздирающие в кровь ладони, выгребая из них остро, до тошноты, пахнущую йодом рыбу, уворачиваясь от забивающего рот и распирающего лёгкие тугого напора сотканного из тысяч мельчайших солёных брызг воздуха, я успел не раз пожалеть, что подставил ребят. Это был мой выбор, но по моим счетам могли заплатить другие.

А на танцующем днище катера отливала ртутью шевелящаяся масса, при каждом ударе волны глухо скребя чешуёй дюраль борта.

Мы упустили мгновение, когда внезапно затаившаяся волна дала шанс уйти в бухту, бросив сети. Обрушившаяся тишина оглушила. Воздух, только что казавшийся таким тугим и плотным, что его можно резать на кусочки, вдруг стал разреженным и пустым, словно из него откачали кислород.

И Нептун, и Краб, и Вовка, и даже я всё поняли, и Ардашев бросился к штурвалу, дико заорав:

– Режь сети!

Из глубин бездны поднялся вал, поглотивший в себя все волны, и сначала медленно и молча, а затем со всё нарастающей скоростью и гулом пошёл к берегу. И казалось, что по макушке вала скользит не пенный бурун, а содранные с обвисшего неба шапки облаков. Многометровая стена воды надвигалась с ужасающей быстротой, и тут мозг пронзило и обожгло: ну вот и всё, конец, разрешение всех проблем. Тот самый патрон в барабане револьвера. Один из семи. Единственный. Твой. Захотелось закричать, завыть, но страх уже парализовал волю и, вцепившись в планширь[1], я загипнотизированно смотрел на накатывающуюся смерть с ослепительно белой диадемой пены по гребню.

Ардашев резко рванул штурвал, завалив катер в глубокий крен, и успел-таки в последнюю долю секунды развернуться, вспоров форштевнем толщу воды. Щекочущее ощущение страха, горьковато-солёные губы, огромная оскаленная пасть, заглатывающая катер, победный рёв зверя, схватившего добычу, надрывно взвывший двигатель, неподвластная сила, играючи разворачивающая стонущий под натиском волн дюралевый корпус со скрипящими шпангоутами, – всё это смешалось в жуткую какофонию звуков и мыслей.

Вовка, забыв о дворянских корнях, орал на слэнге пьяного боцмана, разносящего в прах портовый бордель,

---

[1] Планширь – верхний металлический край борта.

но изумительно ёмкие и красочные эпитеты тонули в рёве беснующейся стихии.

А метрах в ста мористее исполнял зажигательную джигу катер с Нептуном и Крабом. Море всё-таки приняло вызов безумцев, и началась жуткая забава на грани жизни и смерти. Катер взмывал, беспомощно рассекая воздух обнажёнными лопастями винтов, зависал на мгновение и обрушивался в узкую расщелину между двух отвесных валов, чтобы в следующую секунду повторить всё сначала.

Огромный хохочущий исполин перебрасывал с ладони на ладонь крошечный кораблик, изредка роняя и в последнее мгновение успевая подхватить его, чтобы вновь зашвырнуть на самый гребень волны. А берег заворожённо и со страхом взирал на неравную схватку стихии и двух безумных судёнышек, вот уже три часа безуспешно пытающихся подойти к причалу. И среди этих любопытных, пусть и сочувствующих, глаз были чёрные от боли глаза Вовкиной жены. Прижав ладони к губам, словно заталкивая обратно рвущийся наружу крик, она исступлённо молилась за своего непутёвого мужа.

Ардашев, отчаянно матерясь, всё гонял справа налево и обратно штурвал, уворачиваясь от ударов волн, словно боксёр на ринге, тщетно пытаясь поймать тот миг, когда море устало вздохнёт и наступит тишина, и нужно успеть нырнуть за спасительный волнорез прежде, чем в яростном прыжке оно настигнет добычу.

Неожиданно Краб и Нептун, вцепившись в гребень волны, ринулись к берегу, но уже новый вал настиг их у самого пирса, бесстыдно задрал корму, обнажив винты и ободранный киль, и с размаху швырнул на услужливо подставленный клык волнореза, с лёгкостью вспоровший, как консервную банку, сначала кранец, а затем и борт.

Берег вздрогнул, и сдавленный стон толпы прорезал женский крик.

Оглушённого, хрипящего Нептуна выволок из клокочущей пены окровавленный Краб, обессилено свалившись рядом на выстиранный добела песок. И бились серебристые тела кефали об осклизлый, поросший мхом, чёрный бок волнореза, радуясь обретённой свободе.

Вовкина жена, закусив губы до алой тонкой струйки, сбегавшей по подбородку к шее со вздувшейся, бешено пульсирующей веной и дальше к глубокому вырезу простенького ситцевого платьица, отрешённо смотрела на бессмысленную борьбу одинокого катера.

Там, в трехстах метрах, цеплялись за жизнь неподдающийся перевоспитанию бабник и повеса, отчаянный жизнелюб и весельчак, полумуж, полупленник Вовка Ардашев и я, проходящий солёную терапию от неврастении.

А Маринка, раскачиваясь в шезлонге на широкой открытой лоджии пятиэтажного корпуса с видом на беснующееся море и мечущийся катер, вполуха слушала дежурные откровения флиртовавшего директора частной фирмы.

Машинально кокетничая, немножко с грустью вновь и вновь ещё раз проживала откровенную до обнажённости ночь с Вовкой, каких у неё и было уже и немало будет ещё. И всё-таки с ним было по-другому, как будто впервые, как будто искренне и оттого щемящее остро. И ей было немного жаль, что такой ночи с Ардашевым быть может больше и не будет, а будут уже другие ночи, как вот с этим толстым и рыжим нью рашэн, пусть и без жгучей остроты, но зато подслащённой баксами.

Горючки оставалось минут на десять хорошего хода в штиль, а значит, ничего не оставалось. И с последней каплей бензина улетучится призрачная надежда, и тогда это проклятое Богом судёнышко на глазах у всего берега захлестнёт волной и освобождённая из дюралевого плена кефаль набросится на пленивших её.

Ардашев в последний раз выматерился, стиснул зубы и пошёл в сторону узкой белой полосы прибоя, коварно разбросавшего невидимые под взбитой пеной валуны. Гиблое место, даже когда море ласковое и нежное, а теперь это был просто отчаянный бросок жертвы под нож гильотины.

Вовка сбросил обороты до малого, и катер, отданный во власть волны, всё-таки оседлал её, взлетев на самый гребень. И в тот миг, когда она, обессиленно упав вниз, должна была добежать до песка, лизнуть его и в изможденнии отползти назад, Ардашев перевёл сектор газа на полный.

Катер взревел, рванулся вперёд и вверх, прошёл, едва касаясь воды и оставляя рваные раны на дюралевом теле, всхлипнул и заглох, вспоров носом долгожданный ракушечный берег.

Сокрушительный удар швырнул меня на песок, разбивая вдребезги часы и ссаживая кожу на локте через брезентовую штормовку. В голове шумело, земля уходила из-под ног, и спазмы тошноты предательски подкатывали к горлу.

В стороне билась в беззвучной истерике Вовкина жена, и он, гладя её мокрые и пахнущие йодом волосы, шептал: «Прости».

Пошатываясь и загребая сапогами измельчённую в песок ракушку, медленно брели к нам Краб и Нептун.

Катер, завалясь на бок, выплеснул кефаль на песок, и теперь она тусклой ртутью лениво перетекала у борта.

По белому песчаному косогору карабкались белые коттеджи навстречу белым спальным корпусам санаториев. Размытые пятна лиц, размытая акварель платьев и рубашек, размытые контуры стоящих на берегу людей.

А её не было. Нет и не будет. Игра закончена. Драма превратилась в фарс. Патрон в барабане оказался холостым. Будем жить.

1998 г.

РЯЖЕНЫЕ

1

Гаврилов давно отвык от выходных, поэтому суббота или воскресенье для него мало чем отличались от вторника или, скажем, четверга. Пожалуй, лишь меньшей суетой в коридорах управления да щемящей ностальгией по некогда нормальной человеческой жизни. С выходными и отпусками, с домашними пирогами к душистому чаю с вареньем, с газетой в уютном кресле, мягкими комнатными тапочками на босу ногу и мурлыкающей на коленях кошкой. Жизни спокойной, размеренной, несуетной и почти забытой. Хотя, впрочем, такой у него отродясь и не было.

В редкий выходной телефон молчал весь день, целиком, абсолютно, и тогда приходило ощущение неуютности. Вынужденное, хоть и законное, бездействие вызывало депрессию. Как ломка у наркомана. Раздражение рвалось наружу, и уже кресло казалось неудобным, кошка назойливой, а телевизор до отвращения скучным.

По укоренившейся годами привычке Гаврилов проснулся рано и долго лежал, не открывая глаз, смакуя остатки сна. Потом, встав, минут десять бесцельно шатался по квартире, постоял перед гантелями, но трогать поленился и пошёл в ванную. Меланхолично водя зубной щёткой, лениво думал, что день пойдёт насмарку, если это домашнее оцепенение не разорвёт телефонный зуммер.

Продолжая чистить зубы, выглянул в коридор. Новый импортный аппарат с определителем, последний каприз Ларисы, вызывающе молчал. Умывшись, Гаврилов опять подошел к телефону и поднял трубку. А что если эта чёртова заграница не работает? Но трубка съехидничала длинным гудком.

Гаврилов зашёл на кухню. В мойке возвышалась стопка грязной посуды; из приоткрытой хлебницы выглянул рыжий таракан, нагло повёл длинными усами и ходко удалился за панель; из переполненного мусорного ведра свисала картофельная кожура.

Если показать Ларисе своё неудовольствие, наверняка можно нарваться как минимум на «Я тебе не прислуга. Не нравится – сам убирай!».

Для начала вынес ведро, затем вымыл посуду, вскипятил чай, выпил, выкурил в форточку сигарету – Лариса не любила дым, – прошёлся веником, но уже небрежно, не забираясь в укромные места, вытер стол и принялся готовить завтрак.

Увлекшись, не заметил, как появилась жена, буркнула что-то вроде «Доброе утро», во всяком случае, предпочёл бы услышать именно это, и от неожиданности вздрогнул.

«Да, старик, а нервишки-то стали ни к чёрту», – отметил с какой-то грустью и повернулся к Ларисе:

– Завтракать будешь?

– Не хочу, – уже на ходу бросила она и скрылась в ванной. Потом Лариса привычно заняла место у трюмо и долго возилась с кисточками, ватками, тюбиками.

Гаврилов в одиночестве ковырял вилкой ставшие вдруг пресными макароны и думал о том, что, прожив столько лет рядом с женой, он вдруг почувствовал себя не очень-то и нужным ей. И это ощущение ненужности делало бессмысленным редкие попытки не то что нежности, а просто внимания, натыкавшиеся на равнодушный взгляд жены или на брошенную колкость. Он давно стал намозолившим глаза предметом интерьера, который бы и рады задвинуть куда-нибудь в дальний угол за ненадобностью, да малые размеры квартиры не позволяли. И это копившееся отчуждение особенно остро ощущалось в выходной.

Гаврилова накрывала волна раздражения, и он подумал, что самое лучшее, что может быть сейчас, так это вызов на работу. А в молчании провести весь день, изредка перебрасываясь ничего не значащими фразами, было невыносимо.

Гаврилов с надеждой прислушивался, но телефон молчал. Взял журнал, полистал и отшвырнул на диван. Не читалось. Минут десять тупо смотрел в телевизор, силясь понять, над чем смеётся тусовка в студии. Тоска синяя и пошлятина**.** Встал, опять прошёлся по квартире, невзначай посматривая на японское чудо. Молчит. Молчит? Почему молчит?!

За окном задыхался в пыли и расплавленном асфальте город. А телефон молчал. Он настолько привык к его голосу, раздающемуся в самое неподходящее время, что тишина не только раздражала, но и пугала. Андрей ещё раз бросил взгляд на телефон.

– Нас сегодня к Аркатову пригласили. Надеюсь, хоть сегодня ты не помчишься на свою чёртову работу?

Лариса произнесла слова бесцветно, как бы между прочим, продолжая своё занятие у зеркала. Хотя если бы Гаврилов был чуточку внимательнее, то заметил бы, как напряглась её спина, и как предательски дрогнул голос.

Он ничего не ответил и лишь пожал плечами. Последнее время что-то не заладилось, и Гаврилов видел, как возникшее отчуждение неумолимой ржой разъедает их с Ларкой отношения. И всё чаще стал пропадать на работе заполночь, чтобы не видеть холода, сочащегося из её глаз, не ощущать своей ненужности. Наскоро проглотив холодный ужин, ложился в постель, обдававшую холодом, и забывался до утра. Умывшись, перебрасывался никчемными, ни к чему не обязывающими фразами и спешил уйти.

Он не мог понять причину отчуждения и пугался этого ещё больше. Утешал себя, что просто блажит баба, и

мысль, что между ними мог возникнуть кто-то третий, даже не возникала. Этого не могло быть, потому что быть не могло в принципе.

2

Они встретились на вернисаже случайно. Так, ничего не значащие слова, мимолётный взгляд, дежурная улыбка в уголках губ, но что-то зацепило, полоснуло горячим и острым. Картины Аркатова, странный симбиоз линий, конусов, треугольников, кубов и просто мазков открытой краской, словно после небрежно вытертой кисти, завораживали своей необычностью, какой-то намеренной хаотичностью, и, как томно, с придыханием и закатыванием глаз, сказала экзальтированная перезрелая дама с запредельно откровенным декольте, своей галактичностью. Сальвадор Дали в чёрном космосе.

Несколько раз они случайно встретились на улице. Хотя почему случайно? Она стала ходить на работу мимо его студии, хотя та и была на целый квартал дальше от её работы. Аркатов церемонно раскланивался, произносил банальные комплименты, вздыхал, всем своим видом показывая восхищение ею как женщиной. И вдруг она почувствовала, что сама подсознательно ищет этих встреч, этих ярких пятен в мутном потоке буден.

Когда из притормозившей рядом иномарки её окликнул Аркатов, распахнул дверцу, приглашая в салон на заднее сиденье, положив на колени со вкусом подобранные ромашки, она осознала всю неслучайность встреч. За нею ухаживали. Мягко, изящно, ненавязчиво, по-рыцарски галантно, с трепетной нежностью. И испугалась. Себя. Потому что, если он вдруг (нет, нет! только не это! никогда!) просто поманит, не устоит.

3

Всю следующую неделю имя художника не сходило с языка жены.

– Гаврилов, ну как ты не понимаешь, – убеждала она, – Аркатов самый модный в этом сезоне.

Жена почти всегда, даже на людях, называла его преимущественно по фамилии – привычка молодости, когда им пришлось работать какое-то время вместе. Поначалу он вовсе не обращал на это внимания, затем стал ощущать неловкость, будто и к нему обращались, и не к нему вовсе, потом уже обижался и сначала робко, но со временем всё настойчивее и настойчивее просил не называть его по фамилии хотя бы дома.

Ларису поначалу забавляла реакция мужа, но со временем всё превратилось для неё в какую-то игру, и она нарочито, к месту и не к месту, упрямо продолжала звать его только по фамилии. Она вообще всё любила превращать в игру, где главная роль изначально отводилась исключительно ей, так и не заметив, что их отношения давно уже шагнули со сцены в зал, не всегда вызывая одобрение публики.

Когда он, сдерживая обиду, твердил: «Ну не надо так, заигрались, давай по–нормальному», – в ответ неслось: «Да я не держу тебя. Не за что держаться! Можешь проваливать!»

На этот раз Гаврилов возражал по инерции, думая о своём:

– Что значит модный? Что он, шляпка, что ли? Или колготки? Дожили, на людей мода пошла.

Ему давно не нравилось, как жена то демонстративно впадала в депрессию, показывая всем своим видом свою глубокую несчастность, то, театрально заламывая руки, твердила о непонимании смысла жизни, с одержимостью

выворачивала карманы, ища записки несуществующих любовниц.

Гаврилов понимал, что все эти её затеи сводились лишь к одному: обрати на меня внимание, я женщина, я единственная, и никого, даже работы, не должно стоять между нами. Понимал, но не хотел, упрямо не желал потакать, считая, что от этого бабского идиотизма должна излечиваться сама. Хоть крестиком вышивай, хоть на кухне живи, но займись хоть чем-нибудь стоящим, и тогда всё наладится, но она упорно продолжала жалеть себя, требуя жалости со стороны и ото всех.

А теперь это приглашение. Мысль, что его Ларка может интересовать Аркатова как женщина, неприятно кольнула. Конечно, этот Пикассо местного разлива – мужик фактурный, такие бабам нравятся. Да и язык, наверно, подвешен. Болтать – не кайлом махать. Работа у него такая, баб клеить. Чужих. Да ни хрена, не обломится. Ларка из другого теста.

– Так ты пойдёшь или нет? – Лариса прищурила глаз, удлиняя ресницы короткими взмахами кисточки.

Ему не хотелось отвечать, заранее угадывая реакцию жены, и потому просто пожал плечами. Ну не желал он видеть ни этого чёртова Аркатова, ни его мазню. Не зажигало.

Он опять покосился на телефон. Ну что, японская твоя душа, молчишь? Тут нервы мотают, а ты молчишь. Всё ж мужского рода, а никакой солидарности.

Аппарат словно внял желанию, мигнул зелёным индикатором и залился трелью. Гаврилов молниеносно сорвал трубку.

– Да, хорошо, да, да, нет, машину не надо.

– Что случилось? – кисточка с тушью замерла у ресниц.

– Не знаю, начальство вызывает.

Футляр в сторону, штепсель в розетку, и электробритва монотонно зажужжала, скользя по подбородку.

– Ты же сегодня выходной. Почему опять тебя? Боже, как же всё это надоело!

Андрей внутренне сжался: сейчас начнутся стоны, слёзы, оскорбления. Привычная, набившая за последние годы оскомину, сцена из его семейной жизни. И какого чёрта он всё-то слушает? Ладно, держись, старик.

Машинально стряхнул бритву тут же, у зеркала, вызвав взрыв негодования, и быстрым движением, словно обжёгшись, положил на туалетный столик, что никогда себе не позволял прежде. Столик был исключительной собственностью Ларисы, где жили пудры, помады, туши, кисточки, тампончики и прочие ненужные, на его взгляд, вещи. Но это был её крохотный мир таинств утреннего перевоплощения, в который он не смел вторгаться.

Схватив бритву, Гаврилов, растерявшись, сунул её в шкаф в прихожей, лишь бы угодить жене, лишь бы успокоить её, лишь бы она замолчала.

Не зная зачем, просто так, выщелкнул магазин и вновь загнал ударом в рукоять пистолета, поставил на предохранитель, сунул в наплечную кобуру и надел куртку.

Он проделал всё это молча, механически устало, нарочито не обращая внимания на набиравший обороты тон жены.

Да и что, собственно, говорить? Объяснять опять, что раз муж сыщик, значит, казённый человек, а не твоя собственность. Так сама всё прекрасно понимает, просто характер стервозный. Стал. А может быть, был? И слова одни и те же. Вот сейчас скажет, что отдала ему всё, а взамен лишь неблагодарность...

– Я ему всю молодость отдала, а что в ответ? Грязные носки, рубашки да четыре стены? Неблагодарный...

Ну вот, одно и то же. Теперь эгоистом назовёт и неудачником...

– ... жестокий, эгоист несчастный...

Интересно, почему такое несочетаемое сочетание: несчастный эгоист. Эгоист по определению не может быть несчастным, потому что он э-го-ист...

Гаврилов криво усмехнулся. Бесится баба от безделья, не так уж и плохо живётся. И вовсе не из-за того, что день насмарку. В конце концов, не её же вызывают. В общем-то, это не причина для скандала. Не из-за этого же облизанного художника воду мутит?

Стало неприятно, словно взял в руки жабу.

– Ты же ничтожество. Только и можешь, что в дерьме копаться. За что я держусь? Боже, за что?

Ну зачем же она так? Ну что, он уже совсем чужой что ли? Ну почему надо обязательно унизить, ударить больнее, размазать? Ведь он же мужчина, её мужчина, а она вот так, наотмашь. И всё из-за этой облезлой обезьяны…

Обида захлестнула, обожгла и рванулась наружу.

– Ты ведёшь себя как последняя шлюха.

Оскорблённое самолюбие выплеснуло месть наружу, не задумываясь над словами, и как-то подсознательно мелькнула мысль, что не надо бы так, лучше не будет, лучше бы отмолчаться, но сказанного не воротишь. А обида всё сильнее жгла, до боли в груди, испепеляя остатки чувств и разума.

– Что?! Шлюха?!! Ах, шлюха?! Ну ладно, ты ещё пожалеешь об этом!

Досадливо махнув рукой, Андрей выскочил на лестничную площадку и сбежал вниз.

Двор жил своей повседневной, малосуетной и размеренной жизнью, словно ему не было никакого дела до того, что только что в семьдесят шестой квартире два вроде бы совсем не чужих человека убивали любовь.

На детской площадке зашёлся в громком плаче малыш.

Сиротливо жался в углу двора старенький «Москвич» с вызывающе задранным капотом.

Деловито, с зажатой в уголке рта сигаретой, копался в двигателе дядя Гриша, его жена, размахивая руками с балкона шестого этажа, что-то визгливо кричала ему.

На скамейке в тени разлапистого клёна лениво судачили о чём-то своём соседки.

Гаврилов достал из кармана куртки пачку «Винстона», извлёк сигарету, но прикуривать не стал, а размял и отшвырнул в сторону. Обида всё-таки занозила, зацепила, накручивая нервы мотком на кулак, разливаясь тяжестью в груди и застревая комом в горле: «Ну зачем же она так?! За что? Неужели нельзя по-другому?..»

Похмельная голова соседа дяди Гриши вынырнула из-под капота старенького «Москвича»:

– На службу? Ну и работёнку ты себе подыскал, Андрюха. Ни выходных тебе, ни проходных. Слышь, до получки трёшку не позычишь? Моя стерва, понимаешь, все карманы вывернула, ну чисто пылесосом прошла. Всё до копеечки, короста, выбрала.

Гаврилов, будто отмахиваясь от невесёлых мыслей, как от жалящих слепней, тряхнул головой, извлёк из кармана рубашки три рубля и уже на ходу сунул соседу.

– Ты не сомневайся, у меня аккурат в среду получка.

Андрей ничего не ответил и лишь оглянулся на окна квартиры – может, опомнилась, дурёха, и теперь стоит у окна, тайком крестит, как когда-то давным-давно, в ещё той, нормальной, жизни. Но в окне никого не было, и он, ссутулившись, заторопился к троллейбусной остановке.

4

Начальник областного управления угрозыска был хмур и краток:

– Осадчий появился у Опёнка с напарником, так что твоя информация, Андрей Палыч, оказалась верной. Воо-

ружены. План захвата скорректируете на месте. Начальник местной милиции в курсе, ждёт. Гаврилов старший.

И уже на пороге тихо так, тепло:

– Вы уж поаккуратнее там, сынки, ладно? Что-то на душе нехорошо как-то…

– Да всё будет нормально, Виктор Николаевич, не впервой, – Гаврилов произнёс эти слова уверенно, как само собой разумеющееся, сам веря в то, что с его ребятами, а тем более с ним самим никогда ничего не случится.

По эмвэдэшным меркам начальник областного угро был старым и излишне сентиментальным, а в затылок ему уже жадно дышала смена, не обременённая понятиями чести и совести. Но Гаврилов считал его мужиком. Настоящим. Из прежней когорты, умевшей беречь людей. И своих, и чужих.

5

Второй день село гуляло. Разудало, с размахом, как исстари повелось свадьбы справлять. Пило, пело, веселилось. Катали свах, били по пьянке физиономии и тут же, утирая расквашенные носы, распивали мировую. Наяривала гармонь, и куролесили ряженые, выбивая чечётку и рассыпая смех в визгливых скабрёзных частушках. Рвали на груди рубаху огорошенные неверностью мужья, норовя заехать в ухо сопернику под завывания подсинённых изрядным фингалом жён. Растаскивали уличённых в коварстве вчерашних подруг, намертво вцепившихся друг другу в волосы. И бродил по улицам крепкий и хмельной сивушный дух, будоража пьяную удаль, замешанную на пьяной русской дури.

Гуляло село, веселилось напропалую, как в последний день на грешной земле.

На силовом решении Гаврилов сразу поставил крест и теперь мучительно искал выход. По всем правилам надо

было эвакуировать всех из соседних домов, выставить оцепление, начать переговоры. Планы, конечно, пишут умные головы, да только как это сделать незаметно в селе, когда всё и вся будто на ладони. Не успеешь в одном конце улицы чихнуть, как в другом здоровья пожелают. А ну как счёт осады на часы, а то и на сутки пойдёт, что тогда делать с живностью? Коровы нераздоенные такой рёв поднимут, что в городе слышно будет. А визг свиней голодных? Оглохнешь к чёрту. Их что, тоже в эвакуацию отправить?

Гаврилов представил, как сотрудники вместе с хозяевами ловят кур да гусей, визжащих поросят и волокут упирающихся коров со двора, попутно уговаривая Осадчего подождать, пока они управятся, и скривился, как от зубной боли. Если Осадчий не воспользуется всей этой кутерьмой и не смоется, то затянет переговоры до ночи, а потом под покровом темноты рванёт напропалую.

Осадчий с Мишкой Безменом сидели у Петра Малахова по прозвищу Опёнок в крепком кирпичном доме на четыре окна по фасаду, и выковырнуть их оттуда можно было только развернув на прямую наводку батарею «рапир»[1] и подтянув пару бэтээров. Но поскольку из всего арсенала были только штатные «Макаровы»[2] да один на всю группу АКМС[3], то надеяться оставалось исключительно на смекалку и хитрость.

Сотрудники курили, тихо матерились, с тоской и надеждой поглядывая на майора. Но в голову, как назло, лезла всякая чепуха, и ничего путного на ум не приходило.

– Вон тем хорошо, в любой дом зайдут, да ещё по сто грамм на душу примут, – местный участковый Петрович

---

[1] «Рапира» - противотанковая стомиллиметровая пушка.

[2] «Макаров» – девятимиллиметровый пистолет ПМ, находившийся на вооружении сотрудников МВД.

[3] АКМС – 7.62 мм автомат Калашникова со складывающимся прикладом.

нехотя смахнул занудившую муху, почему-то избравшую местом обитания его апоплексически розовую плешину, и судорожно сглотнул.

Вчера он изрядно поддал у Макарычевых, выдававших дочь за соседского Федьку, поэтому мысли концентрировались вокруг возможности опохмелиться.

– Что? Ай да умница участковый, не голова, а парламент, – Андрей ухватил невольно подсказанную идею, быстро прокрутил и выдал в форме оконченного решения.

– Мне, Соколову и Гусельникову женскую одежду со всеми этими причиндалами.

Повернувшись к начальнику райотдела, он выразительно очертил невидимый, но весьма роскошный бюст.

– Какой размер? – у начальника давно сдвинулись мозги набекрень от свалившейся напасти сначала в лице Осадчего и Безмена, готовых нашпиговать свинцом любого ставшего на пути, а затем от областных оперативников, нарушивших вялотекущий ритм провинциальной жизни. Гомон свадьбы за окном в контрасте с натянутыми нервами охотника, скрадывающего на номере зафлажкованного зверя, духота полуденного зноя и томящая неизвестность совсем доконали шефа местной милиции, и он, окончательно ошалев до идиотизма, уточнил:

– Вы какой носите?

Оперативники прыснули, бровь Гаврилова недоумевающе изогнулась, а начальник пошёл пятнами, догадываясь, что сморозил чушь, но ещё не понимая какую.

– Ты, Лёш, на чём играешь? На гитаре? Сойдёт, Гусельникову гитару, – Гаврилов повернулся к Соколову. – Ну а ты будешь просто весёлым парнем. Полчаса на сборы. Вперёд.

– Андрей Палыч, с гитарой вроде бы на свадьбу не ходят, не балалайка же,– Гусельников ещё не вжился с хо-

ду в образ, смутно представляя себя в сарафане с гитарой наперевес.

– А кто ж тебе в детстве золотом мешал на гармошке учиться? – вкрадчиво, но зловеще тихо произнёс Гаврилов. – Объявляю гитару балалайкой. Для верности можешь струны лишние оборвать, Паганини.

Через полчаса группа захвата, нервно-весело подначивая друг друга, разбирала клубный реквизит. Пожилая завклубом тихо постанывала, видя, как Соколов, сопя и чертыхаясь, напяливает поверх бронежилета сарафан.

– Не переживайте, вернётся живым, из зарплаты вычтем, если что порвёт, – с юмором висельника успокаивал её Гаврилов, густо румяня щеки.

– Негоже шутить так, примета плохая, – укоризненно покачал головой участковый.

– Что, Петрович, наряд не нравится? – Гаврилов улыбнулся. – А мы ж и так по жизни ряженые. Всё время на себя чью-то личину примеряем да роль играем, хорошо, если свою. Потому и бардак в России, что все на сцену полезли. Ты, небось, для всех примерный служака и муж, а сам не прочь и на халяву пожить, и чужую жену поиметь. Так что тоже свою роль играешь.

– Чужая жинка это завсегда сладко, – Петрович с видом гурмана смешно причмокнул полными губами. – Это ж чистый романтизьм.

– Романтизм – это пока ты с чужой женой, а ежели твоя жена с другим, то тут тебе горькая проза жизни, – мрачно заметил Гусельников.

– Всё смешалось в доме Облонских,– глубокомысленно заметил Соколов, блеснув эрудицией в рамках школьной программы.

– Ты бы лучше супонь застегнул, чем старших перебивать, – Андрей дёрнул опера за болтающиеся бретельки.

Но застегнуть сарафан на широченной спине Соколова оказалось задачей неразрешимой, поэтому пришлось просто пришпилить булавками концы к ткани, обтягивающей титановые пластины бронежилета.

– От сглаза, – пошутил Гаврилов, похлопывая Соколова по спине.

6

Упав на диван, Лариса разрыдалась. Боже, как же она была слепа, выходя замуж. Для него же главное работа и только работа, а она лишь прислуга, домработница. Подай, принеси, приготовь, постирай. Боже мой, как же всё это надоело! Он же бесчувственный чурбан, который никогда не понимал и не желает её понимать. Разве сравнить его с Аркатовым? Владислав Аркадьевич воспитан, интеллигентен. А как он понял одиночество её души! Сколько горечи и сожаления было в его голосе тогда, в машине, когда он, взяв её руку в свои ладони и заглянув в глаза, проникновенно шептал:

– Дорогая Ларочка, если бы вы были моей женой, вы бы проводили свой отпуск только на Лазурном Берегу французской Ривьеры. Вы такая необыкновенная! Восхитительная! Вы достойны иной жизни, поверьте мне.

Если бы Гаврилов видел его глаза, слышал эти слова, а главное тон, каким они были сказаны, поперхнулся бы от ревности. Хотя нет, она же всегда была ему безразлична. Этот сухарь её никогда не любил и не любит, иначе не оставил бы сегодня одну. Ну а шлюху она ему никогда не простит. Ни за что!

Лариса вытерла слезы и решительно сняла телефонную трубку.

– Владислав Аркадьевич, добрый день. Да, да, конечно, собирались, но так получилось, что мужа срочно вы-

звали. Да нет, неудобно, может, в другой раз? Это прилично? Право, не знаю, но раз вы настаиваете... Ну хорошо, я приеду. Нет, нет, машину заказывать не надо, я сама…

Трубка соскользнула с клавиши, вспоров пронзительными гудками нависшую тишину. Лариса прижала ладони к запылавшим щекам. Боже мой, что я делаю! Потом буду каяться, ненавидеть себя. И тысячу раз прав окажется Андрей, окрестив шлюхой. Прав? А почему он прав? Он же сам толкает её к другому. Своим отношением, своими словами. Нет, ну я же не собираюсь к нему в постель. Я просто не могу оставаться здесь одна, в этой опостылевшей квартире. Я тоже имею право на свой маленький праздник.

7

Свадьба вешним половодьем выплеснулась из тесной горницы на улицы и закружила водоворотом, вовлекая оперативников в безудержное пьяное веселье. За два дома до Опёнка пьяненький мужичонка в сбитой на затылок кепке вдруг воспылал чувствами и настырно полез под юбку Гаврилову.

– Не здесь, милый, не здесь, пойдём в сад, – с плотоядной улыбкой прошептал ему на ухо Андрей, внутренне сатанея от одной только мысли, что задуманная операция может с треском провалиться из-за этого похотливого кролика.

Как только завернули за угол сарая, левая рука мужика опять нырнула под сборки юбки и стремительно рванулась вверх, а правая расстегнула и приспустила свои штаны. Замаслившиеся глаза вдруг округлились, трезвея:

– Ё моё, эт-та чо у табе тама?

– Чаво, чаво, кукуруза, дядя, – Гаврилов с наслаждением сомкнул рёбра ладоней за ушами незадачливого ухажёра и, уже сомлевшего, передал подоспевшим местным операм, давящимся смехом. Через секунду голые ягодицы

мужичонки и спущённые до колен штаны мелькнули в кустах сирени.

С песнями и плясками ряженые под переливы гармони и яростные аккорды Лёшкиной гитары переступили порог дома Опёнка.

8

– Ларочка, ну наконец-то, я уж заждался, – Аркатов галантно коснулся губами руки гостьи. – Польщён, весьма польщён. Такая эффектная женщина – подлинное украшение моей холостяцкой хижины. Как жаль, что счастье длится лишь мгновенье.

Аркатов сценически простёр руку и притворно вздохнул, но птичка, впорхнувшая в расставленные сети, уже не желала замечать театральности всего: и приглушённости освещения, и банальности слов, и искусственности восторга в блестевших желанием глазах. Он пребывал в той поре, когда женщин привлекают не дерзостью молодости, а искусством обольщения, добиваясь стопроцентного успеха.

Почти каждая женщина, самая счастливая, если ей заглянуть в глаза, прикоснувшись к руке, бросить к ногам розы и произнести при этом с оттенком ностальгической грусти: «Боже, как вы прекрасны!», а потом и ненароком обронить, что достойна она иной жизни, непременно сочтёт себя глубоко несчастной. И сразу муж окажется серым занудой, быт неустроенным, а прежде роскошные наряды убранством бедной золушки.

– Коньяк, шампанское, кофе? Впрочем, на правах хозяина позвольте коньяк. Не правда ли, какой божественный аромат? Франция, лето, напоенный солнцем виноград, нежные женские пальчики, обрывающие гроздья, – губы

Аркатова коснулись ладоней Ларисы, – шёпот морской волны. И всё это чудо бытия в одной янтарной капле.

Приятное тепло разлилось по телу. Сбросив туфли и с ногами забравшись на тахту, Лариса сразу же утонула в серебристом мехе. Аркатов опустился на ковёр, снизу вверх заглянул в глаза и вновь наполнил бокалы.

Он умел подать себя именно в интерьере канделябров с искусственной бронзовой зеленью под старину в неровном пламени свечей с сухо потрескивающим воском, ночными гардинами, создающими таинственный полумрак даже в самый солнечный день, электрокамином с мерцающим свечением тлеющих углей и чуть горьковатым запахом горящей сосны – последнее ноу-хау немецкой технической мысли. Эдакий усталый светский лев, Печорин в отставке, мэтр местной богемы.

Владислав Аркадьевич давно трепетно и нежно любил... себя. С завидным упорством одарённого вкусом эстета он создал потрясающий шедевр – Аркатов в интерьере жизни. Грунтовку, подмалёвку, второй план составляли квартира, машина, вещи и женщины.

Может быть, именно поэтому он не потерялся в бесконечном калейдоскопе глазок, ножек, попок и мордашек блондинок, брюнеток и шатенок. В безумной страсти они швыряли к его ногам всё: честь, семью, карьеру, будущее. Ему же бросить в жертвенный костёр любви было просто нечего. Ну не себя же, право слово!

Низвергнутые в пропасть унижения женщины коварно мстили: писали письма в Союз художников, травились, пытались даже подпортить фактуру холёной физиономии подвернувшимися под горячую руку предметами, но тщетно.

Бабочки сами бросались в огонь страсти, обжигая крылышки. Коллекция доверчивых дурочек пополнялась с удивительной виртуозностью, словно на всю женскую половину города вдруг нашло умопомрачение. То ли виной

всему физиология, то ли негодяи мужья, то ли задыхающийся в летнем зное город, то ли занудная серость осени, то ли слякотная зима, то ли неудержимая жизненная тяга весны. А может, этот всесезонный зов любви был вызван иной, киношной жизнью Владислава Аркадьевича с брошенными к ногам Золушки пошлыми красными розами в капельках искусственной росы, искрящимся шампанским, полумраком комнат с мерцающим светом свечей.

Лариса плыла на волнах искусного обольщения, не видя и не желая видеть фальшивость истекающей на неё нежности. Ей было хорошо, просто хорошо в этой роскошной квартире, на этой итальянской тахте под морёный дуб, с этим необыкновенным человеком. И домашние неурядицы, и утренняя ссора с Гавриловым, и неизбежное возвращение к тому, от чего она ушла, оказавшись здесь, – всё это казалось уже чем-то далёким, нереальным и вовсе не важным.

Главное, она здесь, и ей легко, и хочется смеяться, и чуть кружится голова, а у ног мужчина, ещё не её, но уже подвластный ей. Он исполнит любое её желание, любой каприз, она это чувствует. Он желает её как женщину, а она может довести его до исступления и уйти, гордая и свободная. Она властна над ним и над своими чувствами. И тогда он, терзаемый желанием, будет искать встреч, метаться, не находя места, а она будет отступать медленно, то приближая, то отдаляя его. Она с кошачьим изяществом будет скрадывать свою добычу. Потому что это её добыча. Потому что это она выбирает себе мужчину. Так заведено природой. И пусть мужчина считает, что это он завоёвывает её. Она подыграет ему в его вековом заблуждении. Она вселит в него уверенность, что женщину, как бастион, нужно завоёвывать долгой осадой и, чем она дольше, тем сладостней победа. А потом наступит миг, и он, раздавленный страстью, припадет к её ногам с мольбами...

Главное – не переиграть, иначе плоть сочтёт себя отвергнутой, и вернётся к ней разум, и уже никакая сила не сможет вновь низвергнуть её в то состояние, в котором она только что пребывала.

9

Осадчий сидел вполоборота, слегка откинувшись на спинку стула и сунув правую руку под газету. Безмен привалился к притолоке, держа руки в карманах мешковатого пиджака.

Большая комната вдруг стала тесной, заполнившись невообразимым гамом. Рвал мехи пьяный гармонист, звенела в руках Гусельникова гитара, плескал на пол, разливая самогон, пьяненький дружка, успевая тиснуть тугие ягодицы соседки, а Саша Соколов, неуклюже изображая чечётку и тряся распирающей сарафан фальшивой грудью, наплывал на Безмена.

То ли Гаврилов переиграл, то ли Лёшка с Соколовым, то ли волчье чутьё обложенного зверя, то ли всё вместе взятое, да только поджался Осадчий, спружинился.

Майор кожей ощутил, что вот сейчас Осадчий выхватит из круга какую-нибудь бабёнку, прикроется, рванёт из-под газеты ствол и пойдёт напролом. Нужна секунда, доля секунды, чтобы бросить тело навстречу затаившейся силе, опрокинуть её, смять и, с матом заламывая руки за спину, защёлкнуть браслеты.

Гаврилов подсознательно выхватил у дружки бутылку с остатками самогона и бросил Осадчему.

– Лови, парень, гуляй, как все.

Понял Осадчий, всё понял, да поздно. Рефлекторно разжал на ту самую роковую долю секунды нагревшуюся рукоять «ТТ», выбросив навстречу летящей бутылке руку, понимая, что ряженые это, менты, псы легавые, купившие его таким дешёвым фраерским приёмом.

10

Рука мягко коснулась колена, скользнула чуть выше, ещё выше, ещё….

– Я люблю тебя, безумно, с первого дня, с первого мгновения нашей встречи, – Владислав Аркадьевич целовал её руки, шею, волосы, зарываясь в них и будто задыхался, с шумом вдыхая запах её кожи, вдохновенно играя трепет страсти и сам почти веря в то, что произносил, и она, закрывая глаза и запрокидывая голову, подчинилась, вдруг почувствовав, что не может сопротивляться. Или не хочет? Впрочем, это уже не имело значения. Качнулась люстра, качнулся потолок, качнулись стены и поплыли, поплыли, поплыли…

– Ты божественна, ты восхитительна, – страстно шептал он, покрывая её уже освобождённое от платья тело поцелуями, и эта подчиняющая страсть самца делала её покорной и безвольной….

Свечи, камин, горьковатый запах горящей сосны, тахта. Какой мягкий ворс! Нежный, ласковый, возбуждающий... Какой потрясающий коньяк! Какие у него тёплые руки! Какое у него мускулистое тело! Какой мужчина! Боже мой, хорошо-то как! Истома слабостью спеленала, пол взмыл вверх, опрокидывая стены и потолок, и всё вокруг закружилось в безумной безудержной карусели. А потом невидимая рука набросила дымчатую вуаль, и сначала размыло контуры, а затем всё взорвалось сверкающим разноцветным калейдоскопом, отсекло мир звуков и красок, оставляя лишь сводящий с ума мир осязания.

И стон, сдерживаемый неимоверным усилием воли, вырвался, сметая последний запрет….

11

Осадчий успел нажать на спуск. Всего один раз. Пуля вошла в грудь слева, но Гаврилов, ещё не осознав этого, ещё не ощутив ослепляющей боли, продолжал бой, переворачивая Осадчего на живот, заламывая ему за спину руки и защёлкивая ударом на его запястьях браслеты.

Он ещё успел увидеть Гусельникова и Соколова, стягивающих наручниками руки распластанному на полу Безмену.

Ещё успел увидеть испуганные лица трезвеющей свадьбы и услышать стон гармони, выпавшей из рук ошалевшего гармониста.

Ещё успела прожечь раскаянием некстати возникшая мысль: «А с Ларкой-то нехорошо вышло, зря обидел…».

Ещё успел выдавить осевшим голосом: «Боже мой, больно-то как», прежде чем слабость спеленала, пол взмыл вверх, опрокидывая стены и потолок, и всё вокруг закружилось в безумной безудержной карусели. А потом невидимая рука набросила дымчатую вуаль, и сначала размыло контуры, а затем чёрная пелена отсекла мир звуков и красок, оставляя лишь мир осязания ввинчивающейся по спирали к запредельным высотам боли…

12

Лариса лежала на спине, и кожа мелко подрагивала от прикосновения чужих пальцев. Всё оказалось до прозаического обыденным: и его торопливость, и желание доставить удовольствие только себе, и та деловитость, с какой он соскользнул с тахты и, подхватив халат, направился в ванную, и брошенный вскользь взгляд на часы…

«Боже мой! Зачем всё это, зачем, зачем!» – билась мысль, болью отдавая в висках.

Всё произошло быстро, даже слишком быстро, с какой-то торопливостью и поспешностью, будто голодный набросился на уставленный яствами стол и, не разбирая, не ощущая вкуса, стал метать в рот всё подряд, лишь бы скорее насытиться.

Она лежала, зажмурившись, страшась расстаться с придуманным мгновением счастья. Когда всё-таки открыла глаза, то только что виденный ею волшебный мир растаял, растворился и портьеры показались не такими уж новыми, искусственный камин мещански вычурным и всё вокруг до противности пошлым. Всё было ненастоящим.

Лариса соскользнула на ковёр, стала торопливо натягивать на себя одежду, стараясь поскорее спрятать в неё наготу тела, профессионально разглядываемого Аркатовым, успевшим облачиться в роскошный халат и неторопливо и с наслаждением раскуривающим трубку…

Она шла по улицам города, внутренний огонь жёг лицо, и казалось, что все прохожие знают о только что случившимся и презирают её. И даже не за то, что она только что была с другим мужчиной, а за то, что была именно с Аркатовым.

Около подъезда стоял милицейский «жигулёнок», и знакомые ребята из группы Гаврилова, неловко переминаясь с ноги на ногу, прятали взгляды.

На детской площадке опять зашёлся в громком плаче малыш.

По-прежнему сиротливо жался в углу двора старенький «Москвич» с вызывающе задранным капотом.

По-прежнему деловито, с зажатой в уголке рта сигаретой, копался в двигателе дядя Гриша.

По-прежнему что-то визгливо выкрикивала ему жена, размахивая руками с балкона шестого этажа.

По-прежнему на скамейке в тени разлапистого клёна судачили о чём-то своём соседки.

Двор жил своей размеренной жизнью, словно ничего не случилось. Да и что, собственно, случилось? Просто сначала в семьдесят шестой квартире убили любовь, а потом на земле на одного человека стало меньше.

Пьеса сыграна, занавес опущен, жизнь продолжается.

1997 г.

ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ

Настёна умерла в одночасье, как-то тихо и незаметно. Как, впрочем, и жила – неприметно и неназойливо. Всё ходила по дому, стряпала, прибиралась. А после обеда легла, отвернувшись к стене, да и умерла.

Старик ворчал по привычке, пристроившись с валенком, шилом и дратвой под старым абажуром, пока Настёна неслышно передвигалась по комнате. Мельтешит, старая, от работы отвлекает, с мысли сбивает. А когда легла, стало поначалу неуютно, словно недостаёт чего-то. Защемило вдруг сердце, задавило тугой, вязкой болью. Повернувшись в сторону жены, поднял голову, прислушался.

– Настёна, слышь, Настёна?

Жена не отвечала. Суетливо сунул под табурет починку, кряхтя, поднялся, держась за поясницу, подошёл к кровати, нагнулся. Всё-таки возраст – годы, что ни говори, уж поманили на порог костлявую. А в нынешний год совсем сдала Настёна, ослабла. Только вот тропу последнюю первым торить он будет.

Так уж исстари в роду повелось: первыми уходили из жизни мужики. Кто на фронте сгинет, кто от ран, кого судьбинушка в край Колымский невольничий забросит, а

так, чтобы до конца путь пройти, сколь отмеряно, по пальцам пересчитать, не собьёшься.

Жена дышала спокойно, чуть слышно, и еле уловимая улыбка трогала уголки губ.

Старик вернулся, достал валенок, пододвинул табурет ближе к свету, сел, неторопливо затянул дратву, по привычке перекусил зубами нитку. Починка вышла на славу. Жаль, Настёна не видит.

Старик опять покосился в сторону жены. Та по-прежнему лежала всё так же лицом к стене, укрыв худенькие острые плечики вытертым до нитки клетчатым одеялом.

Сложил аккуратно в берестяную коробку нехитрые инструменты, задвинул её в стол, принёс веник, замёл в угол ошмётки подошвы и обрывки дратвы.

Какое-то неясное беспокойство ворочалось внутри, мешало сосредоточиться, и старик опять покосился на спящую. Поставив у печи веник, осторожно, стараясь не шаркать войлочными ботами со стоптанными внутрь каблуками, подошёл к жене. Всё так же на левом боку, и глаза по-прежнему закрыты, только вот губы как-то сжаты и лицо… Что лицо? Чужое какое-то лицо, неживое как будто…

Страшная догадка ворохнулась в груди, и словно что-то острое пронзило изнутри и заныло острой болью слева под лопаткой, а ноги налились тяжестью.

– Настёна, ты чего это, а? Ты что удумала, старая?! Вставай, Настёна, слышишь? Вставай! – он требовательно потянул её за руку, и та безвольно и как-то неловко сползла на пол.

Набежали слёзы, застилая туманом, и старик грузно осел на край кровати.

– Как же так, Настёна? Мне-то теперь что делать?

Он плакал, гладя ладонями остывающее лицо жены и целуя её губы, солёные от его слёз.

Никогда при жизни он не был с нею так ласков и нежен, как сейчас, и от этого ему было вдвойне больнее и горше. Чувство вины свербило душу. Ну почему же умерла Настёна, а не он? Чем Бога прогневила? Ведь это же он, грешный до кончиков ногтей, и поколачивал её в молодости, и баб чужих жаловал, и, охальничая, песни пьяные орал, когда она, пристроившись в углу, тихо молилась за его непутёвую душу. По всем законам ему первому ответ держать, а оно вон как повернуло. И от этой высшей несправедливости его худую костистую спину сильнее забили рыдания.

Никому не сказал старик о свалившемся горе, хоть и жили сын с дочерью совсем рядышком. Разом постарев на десяток лет, сгорбив и без того сутулую спину, шаркая, с трудом дотащился до сарая. В дальнем углу отыскал для себя заготовленные с прошлой весны сухие сосновые доски, выструганные и подогнанные по росту. Расчистив на полу место, стал сбивать гроб. Гвозди вколачивал отрешённо, думая о своей Настёне. Молоток, срываясь со шляпки, дважды рассекал кожу у ногтя, окрасив его багрово-лиловым, но боли не почувствовал.

Уже за полночь вернулся в дом. В старом скрипящем шкафу отыскал платок с огромными белыми цветами по небесному полю, так любимый Настёной – надевала-то всего раза три, подошёл к ней и бережно, словно боясь разбудить, повязал ей голову.

Спазмы опять перехватили горло, и слёзы вновь побежали по щекам, растекаясь в мелкой сетке морщин. Он машинально поправил одеяло, подоткнув с боков, обнял высушенное годами тельце – Боже, махонькая-то какая! – будто впервые увидел её, припал к груди и глухо, с надрывом, разрыдался:

– Прости меня, Настёна, прости дурака старого, за всё прости, – прорывался сквозь слёзы хриплый, осевший го-

лос. Потом рыдания перестали сотрясать его острые плечи, и лишь мелкая дрожь изредка била спину. Приподняв голову, мысленно ворошил прожитые годы, с нежностью и даже какой-то жадностью заглядывая ей в лицо. И ему казалось, что Настёна, его Настёна, внимательно слушает его, по привычке молча, не перебивая.

Большие настенные часы отсчитывали время. Его время. И старик подспудно, каким-то необъяснимым чутьём понял, что живёт последние часы, а может быть и минуты, и что время не может разлучить их. И не должно. И он внезапно осознал, что Настёна, его Настёна была той самой пуповиной, связывающей его с этой жизнью и внезапно, некстати, не вовремя оборвавшейся. Эх, пожить бы ещё, да уже не к чему. И от понимания этого ему вдруг стало легко.

Трудно поднявшись, вышел на крыльцо. Рассвет ярился красным, и солнце, выныривая из-за дальнего леса, окрашивало золотистым макушки сосен.

Старик присел на ступеньку и, зацепившись остановившимся взглядом, задумавшись, потерял счёт времени, просматривая, словно чёрно-белое кино с редкими вкраплениями цветного, свою жизнь. И всё остальное, кроме Настёны, оставалось где-то в тени, а именно она выкристаллизовалась ёмко, выпукло, заполняя собой всё его жизненное пространство.

Солнце уже разбросало тени по двору, когда старик, очнувшись, встал и, волоча отяжелевшие ноги, побрёл к калитке. Неожиданно сердце слабо толкнулось в груди, и сразу перехватило дыхание.

«Что, костлявая, весточку шлёшь? Погоди, не здесь, не время, сам скажу», – мысленно просил старик, идя к дому сына.

Разбрызгивая грязными фонтанами наполненные прошедшим ночью дождём глубокие колеи, с пьяной удалью и ухарством на новеньком тракторе пронёсся сосед

Лёнька. Куры с заполошным кудахтаньем вылетели из-под колёс и возмущённо, укрывшись в зарослях сирени, обсудили свалившуюся невесть откуда напасть в виде Лёнькиного трактора.

Из-за заборов доносились голоса, рассыпался смех и звенели подойники. Поднимающееся в зенит солнце наотмашь ударило в глаза россыпью солнечных зайчиков, запрыгавших в лужах. Село жило обычной жизнью, не подозревая о свалившемся на старика горе.

Открыв капот старенькой «Лады», сын из-под руки взглянул на вошедшего в заскрипевшую калитку отца и медленно выпрямился.

– Ты чего, батя?

– Мать наша померла, сынок. Вчерась померла, – добавил он каким-то уставшим и очень будничным голосом и побрёл за околицу села, ссутулив коромыслом спину.

– Батя, ты чего, батя?! Батя, ты, это, постой, погоди, мы сейчас, – сын растерянно теребил гаечный ключ и с ужасом осознавал свалившуюся весть. – Ты куда это, батя!

Старик, словно запнувшись, неловко засеменил ногами, а потом, не оборачиваясь, глухо бросил:

– За ромашками. Любила она ромашки-то.

На окраине села, сразу за пыльным шляхом, до самой рощи накрыло белой ромашковой метелью взгорок. Старик, не торопясь, выбирая самые крупные и рослые, нарвал охапку цветов и, прижимая к груди, опять заплакал, но уже тихо, давя рыдания.

На подходе к дому сердце вновь ударило со сбоем, и опять перехватило дыхание. Широко распахивая синеющие губы, старик усилием воли подал тело вперед. Туда, к своей Настёне. Перебирая штакетник холодеющими пальцами, упрямо двинулся к крыльцу, с трудом взобрался на него и тут опять обречённо почувствовал, как сердце обрывается

затухающими толчками. В голове гудело, перед глазами плыли круги – розовые, красные, багровые…

Он добрёл до кровати, накрыл скрещённые руки жены ромашками, пахнущими пылью и солнцем, опустился перед лежащей на кровати Настёной на колени, мягко положив свою голову ей на грудь, сминая цветы, и умиротворённо, словно сделал великое дело, улыбнулся:

– Я пришёл, Настёна. Цветы вот принёс… Тебе…Я с тобой…

Когда в комнату вбежали сын с невесткой и затолпились в коридоре вездесущие бабы, старик был уже мёртв…

1991 г.

ВСТРЕЧИ

В Борисовке в тот слякотный осенний день я оказался, в общем-то, случайно. Слышал, что есть в посёлке молодые художники, ещё без имени, но с Божьей искрой, вот и решил и работы посмотреть, а заодно и познакомиться. Но в последнее время фатально не везло. Кого-то не оказалось дома, кто-то отправил работы на выставку, а то, что осталось, в общем-то, не впечатлило. Только работы Саши Иванова, эти церкви, этот звучащий набатный колокол, эти старые монастырские, с выщербленными кирпичами, стенами тронули. А ещё его пейзажи – светлые, пронизанные светом и воздухом. Впрочем, то ли мы появились не вовремя, то ли настроение не гостевое – весьма знакомое настроение, только Саша выдавил непрошеных гостей аккуратно в коридорчик и, пообещав новую встречу, распрощался. А тут ещё ко всем прочим неурядицам добавились

занудный, будто просеянный через сито, дождь и так некстати пробитое по дороге колесо.

Уже под вечер завернули в местный кинотеатр, где приятель видел когда-то несколько довольно интересных и даже зацепивших этюдов. Увы, и здесь картин не оказалось – автор поспешил забрать их к себе домой.

Прихватив бутылку коньяку, устроились в уютном баре кинотеатра в обществе двух прелестных, но довольно пустых созданий, успешно совмещавших обязанности у стойки с непринуждённым щебетаньем с нами. И если бы не директор, то, возможно, вечер был бы скрашен необременительной интрижкой с милыми и нетребовательными представительницами прекрасной половины исторически интересного посёлка.

Юнченко появился неожиданно и сразу же увлёк в свои владения. В общем-то, это не был кинотеатр в буквальном смысле. За широкими окнами – выставка прикладного мастерства и керамика местной фабрики. Вдоль оббитых паласом стен со всевозможными декоративными штучками расположились замысловатые кресла, аквариумы, вольеры с попугайчиками, пальмы и огромные агавы. А посредине фойе – огромная чаша с искусственным гротом и ниспадающим фонтаном. С любовью выстроенный директором Юнченко мир создавал ощущение ирреальности в наш скучный и прагматичный век.

А потом мы сидели у него в кабинете и под чарующую музыку из коллекции Ивана Филипповича слушали его истории, забыв о вступившей в свои права ночи, бродяге-ветре, с упоением швыряющем пригоршни дождя в оконные стекла, о доставшей до самых печёнок своими капризами машине, дальней дороге и вообще обо всём на свете.

Вот тогда и ворохнулась шальная мысль записать эти непридуманные истории, точнее, фрагменты жизни, чтобы остановиться и задуматься: а так ли мы живём?

Будь на земле человеком

Двигатель пару раз чихнул, чахоточно всхлипнул и намертво заглох. Юнченко вышел из машины, обошел её вокруг, зачем-то погладил горячий капот старенького «УАЗика» и сокрушенно вздохнул: «Видно, совсем загнал я тебя, дружок. Эк угораздило, да ещё прямо на перекрестке. И, как назло, ни одной машины. Хоть бы Господь послал кого».

Но просьба директора была перехвачена, видимо, самим дьяволом, который не замедлил прислать своего наместника в лице инспектора ГАИ Юрки Шматова, внешне сурового, как египетская мумия.

– Кто па-а-зволил? По как-к-ому праву? Па-ч-чему на перекрёстке?

Эти «кто» да «почему» сыпались из него как яблоки из некстати порвавшейся авоськи.

– Да погоди ты, мил человек, погоди. Помоги лучше технику на обочину откатить.

Инспектор, сама неприступность, пнул небрежно носком форменного ботинка тугой скат, обошёл вокруг машины и вновь вырос перед Юнченко

– Не положено. Т-э-э-к-с, будем протокольчик составлять. Нарушаем. Нехорошо. – Шматов достал планшет, вытащил заветный протокол, заботливо приладил на капоте, нацеливая ручку. – Т-э-э-к-с, фамилия?

– Юр, послушай, зачем протокол? Ты помоги машину с дороги убрать. Ну, заглохла чёртова железяка, а я-то причём?

– Я не «ты», я при исполнении, – инспектор ещё строже и свысока оглядел Юнченко. – Закон нарушать никому не велено.

– Юрка, стервец, а что ж ты о законе не думал, когда в прошлом году пьяный Лидку в фойе на пальму сажал.

Двадцать лет дерево росло, горя не ведало, пока ты не взгромоздил на него эту кобылицу и не сломал его. Пожалел я тебя тогда, а то бы не носил ты сейчас погоны и нервы старику бы не мотал. Совести в тебе, Юрка, не осталось, видно, всю на протоколы извёл. Вот говорили же, что сволочной ты человек, а я по простоте душевной не верил. Христом Богом прошу, помоги откатить машину.

– Т-э-э-к-с, оскорбление словами при исполнении. Так и запишем.

Вершитель судеб тщательно выводил неровные буквы, а Юнченко мудро смотрел на него, и было ему по-человечески жаль этот затянутый в портупею параграф.

Ровно через неделю на стене гаража, пристроенного к кинотеатру, появились выдавленные на цементной шубе аршинные слова: «Будь на земле человеком».

Вот так вот. Просто будь. ЧЕЛОВЕКОМ.

Юлька

Сказать, что Юлька была красива, значит ничего не сказать. Роскошные волны каштановых волос, блеск агата из-под длинных, кукольно загнутых ресниц, искусно очерченные брови – и вся эта эффектная броскость помноженная на сумасбродность. Да ещё кокетство и какой-то внутренний животный зов: «Возьми меня!»

Юльку любили многие, но Юлька любила только себя. И лишь Виталий, за два года встреч не посмевший прикоснуться к ней даже пальцем, притягивал её душу, и встречи с ним очищали её.

На сборном пункте военкомата он взял её тонкие пальцы в свои ладони и с надеждой спросил:

– Ждать будешь?

– Такие разве ждут? – рассыпалась жемчужным смехом Юлька и ткнулась губами в жёсткую щеку.

Виталий упорно слал письма, полные любви и нежности, а Юлька щедро одаривала любовью, легко и весело шагала по жизни, словно дорога эта не имеет конца.

И пришло время, когда уже не она выбирала, а её тащили в машину, в кабинет или подъезд, где брали от неё всё, что им хотелось. И её желание уже никого не интересовало. И заковыляла Юлькина жизнь по колдобинам и ямам, затрепало ветром, как сорняк на обочине, и всяк проходящий норовил стоптать.

После того, как Юлька, одарив однажды весёлых южан многообещающим и шальным от выпитого шампанского взглядом, попыталась улизнуть, они затащили её в машину и отвезли на квартиру.

На следующий день избитая и растоптанная Юлька пришла к участковому в опорный пункт. Тот, не дослушав, молча повалил её на колченогий диван, а потом, выставляя за дверь, назидательно сказал:

– Таких, как ты, Юлька, не насилуют. Я завтра после семи здесь буду, так что заходи, утешу, – и ухмыльнулся.

А Виталий всё слал письма, упорно твердя, что любит.

Подружки, успев выскочить замуж, поносили её последними словами, оберегая от неё своих мужей и тайком наставляя им рога.

Однажды вечером скрипнула дверь в кабинет Юнченко и вошла потерявшаяся на этой грешной земле Юлька. Как-то неловко, будто с закрытыми глазами, опустив голову, подошла к столу, постояла, перебирая дрожащими пальцами бахрому на шарфе, и вдруг, уткнувшись ему в плечо, разрыдалась:

– Иван Филиппович, миленький, ну что же мне делать? Не хочу так жить. Не хочу и не могу! Хуже послед-

ней шлюхи я. В грязи вся, как прокажённая в струпьях. Как же мне очиститься ото всего этого?

А Иван Филиппович гладил её рассыпавшиеся по плечам пахнущие ромашкой волосы и растерянно шептал:

– Что же ты наделала, девочка? Что ж ты позволила себя растоптать в грязи. Негоже так, ой как негоже. Уезжать тебе надо, милая, насовсем, иначе молва шлейфом потянется за тобою, детей коснётся, и ни радости, ни счастья уж не видать тогда.

С тех пор никто не видел её шальных и зовущих глаз, её походки, вслед которой у мужиков до хруста в позвонках поворачивались шеи, и уже никто не рисковал тащить её в машину. Будто подменили Юльку.

Прямо с вокзала Виталий пришёл к ней. Да только не дождались ни соседи, ни подружки бывшие ни слов бранных, ни криков. Вышла Юлька из дома с лицом светлым, проплыла мимо них лебёдушкой белой, и в тот же день увёз счастье своё Виталий в края далёкие, подальше от языков чёрных и взглядов завистливых.

Много вод вешних отшумело с тех пор, и в суете житейской забывать стал Юнченко Юльку. Да и мало ли повидал на своём веку судеб, глупостью загубленных, разве упомнишь всех.

Как-то по осени искал он по Москве тромбон. С ног сбился, но нашёл-таки и, счастливый уже, бесцельно бродил по городу. Осень лишь мягкими мазками прошлась по верхушкам деревьев, но в воздухе уже тянуло свежестью. На спуске Кропоткинской набережной его окликнули:

– Иван Филиппович!

– Юлька?!

Ослепительно красива, но без вызывающе броской порочной красоты, а женственная и мягкая стояла Юлька. Та самая. И совсем другая. Чистая и светлая, будто мадонна.

– Вот ты какая стала, – ахнул восхищённо Юнченко. – Ну, как ты, где?

– Спасибо вам, Иван Филиппович, за всё спасибо. Трое детишек у меня, два мальчика и девочка. Виталий институт закончил, инженер, я в детском саду воспитателем. А прошлую жизнь забыла. Как будто и не было её. Любит меня Виталий, любит и верит. Ни разу не укорил. Вот так и живём.

Потом уже в поезде под перестук колес думал о том, что могло быть всё иначе, не будь того вечера и, самое главное, Виталия, которому было нужно не роскошное Юлькино тело, а она сама. Если бы не его любовь, которая смогла поднять её и очистить, кто ведает, как бы сложилось всё дальше. И что жизнь штука всё-таки сложная и главное даже не в том, чтобы не споткнуться, а в том, чтобы суметь подняться.

Гастроли

– Иван Филиппович, дорогой, выручайте, – заведующий областным отделом культуры обвился вокруг Юнченко плющом, нежно касаясь длинными пальцами пиджака директора и снимая невидимые пылинки. – Завтра выезд в Москву, а людей не хватает. Творческий отчет Алексеевского района. Надо, поймите, надо. Сам Андрей Палыч Кириленко[1] земляков ждёт, – и длинный с холёным ногтем палец зава взмыл вверх.

Из сбивчивого рассказа областного чина Юнченко понял одно: надо выручать коллег.

На всех четырнадцати концертах Юнченко вместе с закадычным другом Колей Буняевым солировали на бис,

---

[1] Кириленко Андрей Павлович – секретарь ЦК КПСС, уроженец г. Алексеевка Белгородской области.

свято блюдя категорический приказ: никаких повторных выходов, раз, никаких интервью, два. Так что после исполнения срывались два друга с места, словно ведро касторки хватили, и сломя голову мчались за кулисы, строго следуя полученным инструкциям.

Почему его и друга оберегали от наглой корреспондентской братии пуще глаза и похлеще иного президента, узнали случайно, да и то в последний день. Оказывается, представляли его здесь вовсе не директором кинотеатра из Борисовки, а завхозом Алексеевского детского сада. Ну а друга и того круче – конюхом окрестили, за что тот крепко обиделся.

Последнее выступление было в Академии им. Жуковского. Вышли они на сцену, обвели взглядом зал – аж не по себе стало: металл на груди позвякивает, погоны золотом отливают, и атмосфера какая-то особая, торжественная. Спели они с Колей, а зал молчит. И тишина оглушительная нависла, как перед грозой бывает. Ну всё, думают, провал полный. Холодом обдало, аж мурашки по спине. Попятились наши певцы к кулисам поближе, и вдруг зал такими аплодисментами взорвался, что и Юнченко, и у Буняев до слёз растрогались. И захотелось им наплевать на все запреты. Подскочили к микрофону не сговариваясь, да как выдали им «Песню боевых друзей» Долуханяна.

А из-за кулис уже шипят им, уже на крик перешли, уже даже не требуют уходить, а вопят кастрированным поросёнком, чтобы скорее за кулисы топали, а те от микрофона ни на пядь не отступают, словно круговую оборону заняли. И тут зал встал, все как один, плечом к плечу, и боевые генералы, отсвечивая золотым иконостасом на груди, и совсем молоденькие лейтенанты – на глазах у всех слёзы – и дубасят, что есть силы, в ладоши. Не аплодисменты, а канонада.

У концертмейстера истерический припадок – отливали водой за сценой; постановщик метался, вздымая руки к

потолку, завывая и пританцовывая в ритуальной индейской пляске при снятии скальпов, проклиная их:

– Анархисты, бандиты, уголовники. О Боже, что же теперь будет!

Руководитель делегации, шестёрка обкомовская, бился в истерике:

– Лишу командировочных, зарплаты, суточных, с работы повыгоняю, мерзавцев. Что наделали, что наделали! Без ножа зарезали, всю программу поломали. В Сибирь, на лесозаготовки отправлю, лес лобзиком валить.

Тогда взял Юнченко его за лацканы пиджачка в искорку, притянул к себе и выдохнул с горящими глазами:

– Подмётка ты драная, плевать мы хотели на твои командировочные, засунь их себе в…, – короче, сказал, куда именно. Да ещё под не выключенный микрофон.

Он аж побелел и икать начал. Юнченко, грешным делом, малость струхнул, но не от сказанного – он и не такое под горячую руку выдать мог, а от опасения: ну как хватит кондрашка начальника, будет и ему на орехи. Но тут появляется за кулисами сам начальник Академии, генерал-полковник. Подходит он к руководителю делегации, жмёт ему прочувственно руку и говорит:

– Спасибо, большое вам солдатское спасибо. Вы уж, пожалуйста, этих двоих, – и на Юнченко с Буняевым показывает, – отпустите к нам после концерта. Пусть попоют, очень уж за душу взяло, молодцы.

Пожал он им руки, крепко пожал, и обнял. А руководитель вокруг них уже вьюном завился, чуть не облизывает и согласно кивает головой.

Вот так познали мужики белгородские, что значит быть звездой, пусть даже на один вечер.

А в Белгороде ждал их выговор за попытку срыва концерта.

Кроличья шкурка

Юнченко пригубил стакан и поднял на меня взгляд умных, чуть грустных, глаз.

– Помнишь, в перестройку фильм Подниекса, режиссёр такой был, убили его то ли в Вильнюсе, то ли в Риге, когда страну рушили. «Легко ли быть молодым?» назывался. Я пока молодым был, считал, что нелегко. А вот каково старикам в этой жизни, так только сейчас задумался.

В Хотмыжске магазин на горе стоит. Привольно, хорошо, а вот старикам не с руки. Еду как-то в Грайворон, стоит старушка, голосует, а в руках шкурка кроличья. Остановился, посадил, разговорились. Оказывается, вышла в магазин бутылку постного масла купить, да не смогла в гору выбраться, вот и пошла на трасу. До магазина по прямой метров триста, а до Грайворона вёрст десять, вот тебе и выбор.

И что меня поразило больше всего, так это кроличья шкурка в её руках. Невыделанная совсем. Видно, бросил кто-то, а она подобрала. Спрашиваю, зачем тебе эта шкурка. А она отвечает, что кто ж теперь за так, за спасибо, подвезёт. Вот и взяла шкурку, чтобы расплатиться. Денег нет, только на бутылку постного масла да на хлеб наскребла. Внук всю пенсию забирает и пропивает.

Отвез я её в город, высадил около магазина и подумал, что такая старость страшнее войны.

Покупка

– Ты вот давеча с любопытством и стены, и потолок, и пол разглядывал, а небось и не сообразил, из чего все эти безделушки, что на украшение пошли, – хитро прищурился Юнченко.

Действительно, меня с первой минуты не покидало ощущение сложности композиции украшений интерьера кинотеатра, и я согласно кивнул, не забыв сделать махонький глоточек коньяку.

– Так вот, – продолжал Иван Филиппович, – вот эта изящная решётка – вцементированная в пол банальнейшая пельменница. Розочки на стенах – формочки для кекса, а ажурная вязь под потолком – спираль от примуса. Про спиральку эту я тебе сейчас одну историю поведаю.

Представь себе: заходит в магазин солидный, с иголочки костюм, мужчина, то есть я, и спокойно обращается к продавщице, что за прилавком подрёмывает:

– У вас триста восемьдесят шайб не найдется?

Продавец, видать, баба тёртая, грудь седьмого размера на прилавке Гималаями возвышается, видавшая перевидавшая на своём веку всякого, слегка встрепенулась, бровь дугой изогнула:

– У вас что, триста восемьдесят примусов?

– Да нет, отвечаю, к чему мне примусы. Мне только шайбы нужны. Я их на потолок хочу приспособить.

У неё бровь уже триумфальной аркой выгнулась, и сомнения начинают перерастать в уверенность, что не все дома у этого странного мужика. А на вид ведь такой благородный.

– А вы откуда? – тихо так спрашивает продавец, осторожненько, а сама выручку в ящик стола на всякий случай ссыпает.

– Да из Грайворона я, из Грайворона.

– А вы кем работаете? – ещё тише спрашивает она, а сама уж и гирьки под прилавок суёт.

– Директором кинотеатра, – гордо ответствую ей и добавляю: – Так как насчет шайбочек?

Это её окончательно добило: точно, сбрендил мужик. Конченный, хорошо ещё если не буйный. Тут лет уж с пя-

ток никто примусы не покупает, а он почти четыре сотни шайб к ним. Свихнулся мужик на почве культуры, как пить дать, свихнулся.

Она молча отсчитала триста восемьдесят шайб и опасливо протянула упаковку.

Отзыв

– Это у меня не просто альбомы, а отзывы тех, кто побывал здесь, – Иван Филиппович бережно листает неподъёмный фолиант в толстенной коленкоровой обложке с тиснением. – Причём без разницы: знаменитость ты или с улицы забежал на огонёк, да и не удержался, чтобы автограф не оставить. Вот смотри, этот космонавт, а это Лановой Василий, артист. Это первый секретарь обкома – отменный матерщинник был, но культуру понимал и ценил. Это трое дальнобойщиков из Белоруссии. Машина у них сломалась, так я их накормил и на ночь оставил. Это Ольга Воронец, а это Штоколов, наш бас знаменитый, второй Шаляпин…

– А почему у него последняя строка расплылась?

– О, это уже история. Сейчас расскажу. Был он в Белгороде на гастролях. Я узнал и к нему в гостиницу. Концерты уже закончились, наутро в Москву уезжает. Стучу в номер, а оттуда густым басом:

– Да, открыто.

Захожу, здороваюсь, извинения прошу. Сообщаю цель своего визита и, как подобает случаю, с почтением застываю у порога.

Певец устало в шикарном атласном халате полулежал в кресле. До встречи со мною и знать не знал, где эта самая Борисовка на наших просторах затерялась, и никуда, кроме как в Москву, ехать не собирался, поэтому ответил катего-

рическим отказом. И не очень вежливо посоветовал покинуть номер.

А я, как и он, на флоте служил, и учитель у нас общий был, из флотского ансамбля Иван Семенович Бугаев. И тут я ввернул про его величество случай. О том, что такое бывает раз в жизни и что флотскому братству он изменить не вправе. Зацепил я его здорово, за больное зацепил. Мужик он решительный – чемоданы в угол полетели, билет обратно в кассу – Вези! – и вот уже потрясённая Борисовка внимает знаменитому басу. Весь концерт прошёл на бис.

А потом сидели мы в моём кабинете, пили янтарный коньяк и пели дуэтом всю ночь напролёт. Вот тогда он, обняв меня, отодвинул искрящийся рубином бокал, заглянул повлажневшими глазами в самую душу и сказал:

– Давай я тебе, Иван, на память что-нибудь начертаю в твоей книге.

Уже расписываясь, не удержался растроганный приёмом певец, и слеза, падая, размыла чёткую линию последней строки. И выкатилась она не из глаз его, а из самого сердца.

Промашка

Юнченко велел принести ещё бутылку коньяку, шоколад и виноград, и вышколенная девочка из бара тут же исполнила заказ.

– Сейчас посвободнее, не то что прежде, – Иван Филиппович плеснул на дно стопочки янтарной жидкости. – Освободили нас от ока партийного, а заодно и от зарплаты. Кинотеатр на самообеспечении – что заработаем, то и наше, а отсюда и репертуар скудный. Вынуждены порой всякую дрянь гнать, чтобы касса не пустовала. Хоть и тяжело

нынче, да всё же лучше: хоть в душу не лезут. Была у нас секретарём по идеологии баба, Григорьева по фамилии. Ох и стервозная ж бабёнка была, вздорная и злопамятная, как и все недалекие люди.

Вызывает как-то меня в райком. Ничего хорошего встреча не сулила. Ни для кого не секрет, что райком под меня усиленно копал. Более того, атака велась хоть и сумбурно, но по всему фронту.

Захожу, стучу, всё чин по чину:

– Разрешите? Здравствуйте, Ирина Борисовна, – говорю ей вежливо и смотрю по-детски наивными и чистыми глазами. И вижу перед собою вмиг посуровевшую женщину. Нет, не женщину. Женщины здесь не было. Был царь и Бог, нёсший тяжкое бремя ответственности борьбы за чистоту идеологии и моей души.

– Слушай, Юнченко, ты что себе позволяешь? – вместо приветствия закусила удила Григорьева. – Ты что, совсем не понимаешь текущего момента? Ты знаешь хоть, что в Москве сейчас идёт? – и смотрит, как на убогого.

– Где, в кинотеатре? – делаю глуповато-добродушное выражение под стать славному солдату Швейку.

– Какой кинотеатр?! Ты что комедию ломаешь?! В Москве съезд партии идёт, Юнченко! – и её короткий толстый, как сарделька, палец взлетает к потолку. Палец как палец, так себе палец, можно было бы и не демонстрировать. Даже ноготь не как у всех женщин, без маникюра. Видно, маникюр по статье об идеологической диверсии проходит. Весьма невзрачный палец, не впечатляющий. Не указующий.

– Ну а я причём?

– Причём? – зловеще тянет в нитку губы секретарь, – а при том. Ты какой репертуар даёшь? Это что ещё за «Слуги дьявола на Чёртовой мельнице». Ты на что намекаешь?

Я вздохнул и думаю: ну почему так на Руси испокон веков, что ни начальник, то дурак. Может быть, потому, что сначала один завёлся наверху и себе подобных нарожал. И пошли они размножаться, и беременность ихнюю прервать некому. И редко среди них нормального человека найдёшь, это как крупинки золота в породе. Устал я от общения с ними, ой как устал. Отвечаю ей:

– Да ни на что не намекаю. Наш фильм, советский. Исторический. Я сказал бы, даже атеистический. Рекомендован областной кинофикацией.

Это я уже на всякий случай приврал. А ну как кому ещё в голову взбредёт съезд окрестить Чёртовой мельницей, а делегатов – слугами дьявола. Хоть и не тридцать седьмой год, а всё равно страх в нас на генном уровне сидит.

Секретарь досадливо поморщилась, но всё равно позиций не сдаёт. Кремень-баба:

– А что, «Знай наших» тоже областной кинофикацией рекомендовано?

– Да нет, вот здесь они ни при чём, – и притворно тяжело вздыхаю.

Григорьева духом воспрянула, встрепенулась вся, словно призовая кобылица, взявшая, наконец, барьер.

– Идеологический сорняк растишь, Юнченко. Плачет по тебе бюро горькими слезами.

– Промашка вышла, Ирина Борисовна, не согласовал. Думал, раз областной спорткомитет, так можно.

– А при чём здесь областной спорткомитет? – опять насторожилась Григорьева.

– Так ведь они рекомендовали. Фильм хороший, про Ивана Поддубного. Был такой знаменитый борец, патриот России. Кстати, большевикам помогал, – говорю ей с покаянным видом, а у самого от злорадства улыбка на губах дрожит.

Тут она совсем скисла

– Вот что, Юнченко. Мы тебя предупредили, а ты уж там смотри. Больно умный стал. Помни: ты слуга партии (а я ведь беспартийный) и её линию должен твердо вести. Без всяких мельниц, – она двусмысленно покрутила пальцем, но, так ничего нужного и не подобрав, махнула рукой. – Ладно, иди.

2005 г.

ВАСИНА ЛЮБОВЬ

– В нашем писательском деле читателя надо брать за жабры сразу, - назидательно наставлял меня Михаил Анатольевич Кулижников, секретарь нашего отделения Союза писателей, моя, можно сказать, повивальная бабка в литературе. – Лучше, когда заголовок хлёсткий, цепляющий. Вот как, скажем, женщина – внешне фактурная, яркая, взгляд – умереть не встать, а копни – пустота одна. Но это понимаешь, каким придурком был, когда и карманы пусты, и верёвки из тебя свиты. Читатель, он ведь на заголовок сначала западает, а потом уже на текст. Как он крючок заглотнёт поглубже, до самой печёнки, так ты его потом к самому бережку с потягом, то есть до финала, тянешь, не давая соскользнуть. Он потом уже по инерции дочитает. Интрига должна быть. Или секс. А лучше и то, и другое.

– А если просто сцена из жизни? Где ж я интригу или секс возьму? – слабо сопротивлялся я, понимаю, что Кулижников прав на все сто. – Может, просто начать: «Жили-были Вася Антипов со своей женой Ноточкой. Вообще-то звали её Наталья Степановна, если по паспорту, но исстари

повелось Ноточка да Ноточка. С самого детства босоного, да так до седых волос и приклеилось: Ноточка….»

– Ну, брат, не годится. Прямо-таки русские народные сказки какие-то. Ты не спеши, подумай ещё, – секретарь задумчиво затянулся сигаретой и стряхнул пепел мне на колени.

За окном квасило и затягивало нудной моросью город. В голову лезла всякая чертовщина, потому махнул рукой на дельные советы и решил начать прямо с путёвки. Ведь из-за неё, проклятой, и приключилась с Васей эта печальная история.

Случилось это ещё в те давние-давние времена, в эпоху выборочного изобилия, тотального дефицита, всеобщего блата и коммунизма для избранных, то есть при советской власти.

Пришла на колхоз санаторная путёвка горящая. Одна разъединственная, да к тому же лечебная. В город с неблагозвучным именем Грязи, что в Липецкой области.

Председателю с главбухом санаторий этот был не с руки: им либо цековский, да желательно с видом на море, либо заграницу подавай. Начальство пониже тоже носы воротит: кто в бархатный сезон южный берег Крыма окучивать собрался, а кому, прямо скажем, мелковат санаторий, не по рангу. По всем статьям выходило, что если кого и посылать, так только передовика.

Так, мол, и так, сказать ему, что ты весь год горбатился, рекорды ставил, а теперь правление к тебе со всем уважением, со всей, можно сказать, душой: езжай, дорогой товарищ, отдохни. К тому же на дворе ноябрь слякотный, скукота зелёная, грязище за околицей такая, что сапоги того и гляди в колее останутся, так что сам Господь Бог велел отдохнуть, сил поднабраться.

Выбор остановили на Антипове. Во-первых, Василий тракторист передовой и комбайнер отменный. Во-вторых,

семьянин порядочный, в шалостях с женским полом отродясь не замечен, к зелью напрочь равнодушен. Да и дети уже взрослые: сын в армии, а дочь школу заканчивает, круглая отличница.

– Не-е, с Василием ничего такого-этакого, – Антоныч, механик и член правления в одном лице, покрутил замысловатую загогулину пальцами, – не случится. Сурьёзный мужик, хошь и не партейный. Ежели какая оказия и подвернётся, то не оскоромится.

– Ты это, того, об чём это, – насторожился секретарь парткома Пальченко, большой любитель женского пола.

– Да, ето, таво, – залился краской бригадир и смял шапку в грабастых ладонях. – Я так думаю: не подведёт нас Антипов. Курс лечения пройдёт по полной программе.

– Ну, на том и порешим: Антипову ехать, – веско подвёл черту председатель, словно резолюцию черканул.

Сам передовик поначалу ни в какую. Не поеду и всё тут. Но жена убедила: чем ты хуже других? Вон уж сороковник разменял, а где был, что видел, окромя своей деревни-то? На юга нам не ездить, заграница не по чину, так что от такого счастья грех отказываться, – увещевала Ноточка своего благоверного.

Сдался Вася, и стала Ноточка собирать мужа в дорогу, вздыхая и украдкой смахивая слезу.

Близко они, слёзы-то, у русской бабы, чуть что и полились. Вот и ей бы радоваться: как-никак, а её мужику из всего колхоза честь оказали. Другая бы гордилась, а она плачет, дура.

– Да ну её, путевку, к едрене-фене, – в сердцах жахнул Антипов шапкой об пол. – Никуда не поеду.

По правде сказать, ему не шибко и ехать-то хотелось. Боязно как-то, хоть и мужик. Почитай, всю жизнь с Ноточкой локоток в локоток, а тут порознь на целый месяц. Да и самой бабе на хозяйстве оставаться не мёд всё-таки.

– Да не обращай ты, Вася, на слёзы мои внимания. Такие уж мы, бабы: и в радости плачем, и в печали. Так уж устроены. Езжай с Богом, не дури.

Собирала Васю в дорогу Ноточка сама, не доверила мужу вещи укладывать. Ну как, не ровен час, забудет вещь какую важную, как же без неё-то в дальней сторонушке обойдётся. В купленный по такому случаю чемодан рубаху новую красную положила, галстук синий в желтых разводах, что свояк подарил, бельишко новое, а сверху, чтоб не измять ненароком, костюм серый в полоску с премии лет десять назад приобретённый, но раза три всего и надёванный по великим праздникам.

И опять завздыхала: уведут мужика в таком наряде. Девки городские ушлые, им лишь бы чужого мужика урвать. Намедни вон Нюрка-учётчица говорила у колодца, что в санаториях такие безобразия творятся, что хоть глаза закрывай и беги на край света. Будто бабы мужика догола раздевают и грязью обмазывают. Особливо одно место. Грязелечебница называется. Суставы и прочие болезни лечат. Соответственно мужики ихние приезжих баб да девок молодых точно так же пользуют. Ну просто разврат полный. А какая же баба удержится, увидав её Васю в природном естестве, всего, целиком.

Как посланец колхоза отдыхал, какую водичку попивал, сколько, куда и какую грязичку прикладывал и какие ещё процедуры принимал вдали от забот домашних, то нам не ведомо, да только вернулся он из того санатория каким-то не таким. Не то чтобы другой, но будто приболевши.

Ноточка перемену сразу почувствовала.

– Вась, а Вась, – донимала Ноточка возвращенца ночами, – аль болит где? Может, к фелшару сходишь, микстуры попьёшь, какую пропишет?

Молчит Антипов, только с виноватой грустью в потолок долго-долго смотрит и вздыхает, будто корова стельная.

Обольётся сердце женское жалостью, да как тут поможешь, когда причина той кручины неведома, вот беда-то.

– Твово мужика, Нотка, барыньки городские сглазили. Они, стервы вертихвостные, все такие. Как токо мужика углядють, так сразу порчу и наведут, – убеждала бабка Гаврилиха, местная знахарка, пряча поданный червонец за божницу и протягивая припахший пылью пузырек с тёмно-коричневой жидкостью, подозрительно попахивающей валерьянкой.

Но ни пузырёк, ни свечка в местной церквушке тайком за здравие поставленная, ни куриная косточка в саду прикопанная от дурного сглаза не помогали, и угасал Вася с каждым днем, как уголёк на ветру. Осунулся, потемнел лицом, и вскоре от сокола прежнего один нос остался.

Разгадали Васин недуг мужики с тракторной бригады, что вместе с ним в слесарке балду гоняли под видом подготовки техники к весенне-полевым работам, и не одобрили. Раз за сорок перевалило, значит, жизнь под горку пошла. Налево сходить, бабёнку чужую в укромном месте защемить – это куда ни шло, не велик грех. Так то ж баловство, без мук душевных. Но чтобы жизнь наново чертить, это уже слишком.

– Ты, Нотка, за Василием-то пригляди, – басил бригадир Ефимыч, сминая затёртую в прах ушанку и отводя взгляд в сторону. – Видать, умом мужик малость послабел. Приспособит в кабине какую-то фотку и цельный день в неё пялится, будто на икону молится.

Поняла тут Ноточка, что за болезнь одолела Васин организм, всплакнула, да разве слезами горю поможешь?

Как на духу признался Антипов, что встретил в санатории женщину необыкновенную и заполыхал в душе его даже не костер, а пожар. Не может жить без неё, сил нет. Так, мол, и так, виноват перед тобою да перед детьми нашими, но отпусти, Христа ради, с миром.

Наплакалась Ноточка вволю, но сложила Васе тот самый чемодан, с которым он счастье в далёком городе Грязи обрёл. Взял Антипов расчёт, снял с книжки пять заветных тысяч, потом накопленных, три отдал жене, а две с собою забрал, да с тем и отбыл.

Председатель машину больше не дал, а лишь головой укоризненно покачал:

– Подвёл ты меня, Василий, ох как подвёл. С кем посевную вытягивать буду? Что тебе, али наших баб мало? Али не так устроены? Поверь мне, – басил председатель, – у всех всё одинаково. Это попервой они сладко поют, а потом как вцепятся зубами в холку, так небо с овчинку покажется. Зря ты, Василий, ой зря канитель такую затеял. Кошелёк они, стервы, любят и то, что в штанах у тебя.

Наутро на правлении взгрел председатель по первое число партийного секретаря, чтобы в следующий раз кандидатуру самую что ни на есть стойкую выбирал.

– А самый стойкий у нас мерин Ушлый, потому как до кобыл в силу естественных обстоятельств вообще не охоч, – зло огрызался секретарь. – А ещё дед Хорёк, которому в обед будет сто лет. Тут так: либо одних баб в санатории отправлять, либо мужиков кастрировать. Но это не по моей части, это к ветеринару.

– Коли я б после каждого санатория вещички складывал, то в сельмаге чемоданов бы не хватило, – задумчиво протянул главбух и вспыхнувшим взглядом обвел своё женское воинство, мигом уткнувшееся в бумаги.

Но в мятущейся душе Антипова никакие, даже очень мудрые советы уже не могли найти отклика. Оставив жене корову, двух поросят, полный двор птицы, новый мотоцикл да бабьи пересуды, отбыл Вася к своему новому счастью.

Одиночества бабьего доля горькая. Вымочит за ночь подушку слезами Ноточка, перелистает все странички дней прожитых, а не в чем Васю укорить. И всё санаторий тот

проклятый, чтоб сгорел начисто. Извелась душа, изболелась, и даже больше не за обиду причинённую, а за него, за Васю. Как он там? В хорошие ли руки попал? Сыт ли, не раздет ли?

Нашла письмо тайное к теперь уже бывшему мужу от полюбовницы и поехала в город к адвокату. Та письмо читать не стала, но выслушала внимательно и очень даже с сочувствием. Сказала, что все мужики сволочи и что держать их надо на коротком поводке, иначе, как кобели за сучкой, за первой юбку сломя голову попрут. И посоветовала в горсовет написать. Чтобы, значит, проверили, как там её Вася живёт, всё ли у него хорошо, пригрет ли, не мыкает ли горюшко на чужой сторонушке.

Совет дельным оказался. Не прошло и двух недель, как завьюжило, закрутило, снегом все окна исхлестало, забило напрочь. И слышит Ноточка сквозь пургу, будто сначала снег под окном хрустнул, а затем половицы на крыльце скрипнули, и ёкнуло сердце, оборвалось от предчувствия: неужто Вася её вернулся?

И вправду отворилась дверь, взметнув клубы морозного пара, а когда он осел, то увидала на пороге прозябшего и всего какого-то сжавшегося мужа собственной персоной, но изрядно отощавшего и какого-то неприбранного, что ли.

– Разрешите? – голос дрожит, и сам с ноги на ногу переминается, а чемодан на пол не ставит, не решается, видно. – Здравствуйте вам.

И бухнулся в ноги, прощения просит.

Простила Ноточка. Да и как не простить? Не чужой ведь.

Потом уже узнала, что из горсовета письмо передали участковому для проверки и сообщения результата. Тот пришёл по указанному адресу, прописку проверил, выкурил сигаретку, косо и неодобрительно посмотрел на Васи-

ну пассию, хмыкнул и дал Антипову на сборы двадцать четыре часа. Потому как потенциальных алиментщиков, да ещё и без прописки на своей территории терпеть был не намерен.

Никакого понимания высоких Васиных чувств, прямо скажем, участковый не выказал. Чёрствая душа, милицейская. Евдокии же Борзовой, избраннице Васиного сердца и буфетчице вокзального ресторана, строго-настрого приказал прекратить собирать каждый сезон всяких деревенских придурков.

Антипов и сам почувствовал охлаждение своей Джульетты, как только две заветные тысячи с катастрофической скоростью трансформировались в новенький румынский гарнитур для Дуськиной квартиры, беличью шубку и погашение недостачи в буфете.

Из всего привезённого Васей капитала для создания семейного гнёздышка Евдокия для голубя милого раскошелилась на майку не то с женскими трусами, не то мужскими плавками насмешливой солнечно-оранжевой расцветки, да к тому же весьма непривычной формы: и там жмёт, и тут давит, а здесь так вообще неприлично выпирает.

Обидно стало Василию до слёз. Думал, кинется Дуся участкового умасливать, умолять счастья бабьего не рушить. Куда там, даже будто обрадовалась такой развязке. Вещички быстренько в чемодан покидала абы как, не то что Ноточка – складочка к складочке. И не успел Вася опомниться, как закачался первой электричкой до Воронежа, а там уже пересел на свой поезд.

Хоть любовь и прошла вроде, да только гарнитур тот бельевой из майки с трусами Вася не надевает. Может, память бережёт оранжевую. А может, стесняется бельё городское носить. Ну, как мужики ненароком увидят – засмеют.

В санаторий Антипова больше не посылали. Председатель так строго на собрании и заявил: всё, мужики, один уже съездил, еле обратно вернули. Не дам колхоз рушить, рабочую силу на сторону уводить. Ежели кого и посылать, так только баб и исключительно холостых или разведённых. Авось какого-нибудь дурака в колхоз подолом заманят.

А мужики нет-нет да и подначат Антипова:

– Вась, а Вась, ну как там городские, от наших отличаются али как?

И ржут, жеребцы.

Невдомёк им, что любовь у Василия была. Настоящая.

1990 г.

СЛАБАК

Пашке Аверьянову в жизни не очень везло. Даже больше, совсем нескладуха получалась, то одно не сподобится, то другое.

Служить мечтал на флоте: и форма красивая, да и романтика всё-таки – шторма, дальние страны, тропики. Но судьба распорядилась иначе, и загремел он на остров Ратманов к белым медведям, долгим полярным ночам, расцвеченным сполохами северного сияния, и собачьему холоду.

А дружок Андрюха, патологически боявшийся воды, оказался на исследовательском судне, отпустил пижонские усики и прошёл чуть ли не все бордели Тихого, Атлантического и Индийского океанов, о чём любил вспоминать, в блаженстве закатывая глаза, в кругу приятелей под водочку с солёным огурчиком.

После службы и погулял-то недолго. Да что там погулял – так, слёзы кошкины, денька три всего, пока председателя случайно не встретил. Тот руку уважительно пожал:

– Здоровый ты стал, Павел, прямо гренадёр. Нам такие нужны. Ты не балуй, не загуливай. Праздность она, тово, не на пользу мужику. Ты приходи, давай, надо хозяйство наше сельское поднимать.

Покраснел Пашка, будто за руку поймали за нехорошим делом, и наутро уже был на пороге правления.

По весне дородная Валюха Брыкина взяла его за руку, погладила по отросшим волосам цвета половы, да и отвела в сельсовет. Робким Пашка был, возражать постеснялся, на том и поженились.

Ну вот теперь бы и характер проявить, как-никак, а муж законный, да боялся Аверьянов жену обидеть, потому и верховодила в семье она.

На работе то же самое. Сварщик-то он отменный, что называется, от Бога, но очень уж безотказный. Валенок. Только и слышишь: Паш, машину подвари. Паш, отопление сваргань, Паш да Паш, и так всю жизнь.

Варил, подваривал, шов вёл, что гладью вышивал и всё за так, за спасибо. Потому как к спиртному был абсолютно равнодушен, магарычами не брал, а деньги почему-то предлагать забывали. Да он бы и не взял. Не принято так на селе, крохобором сочтут, рвачом.

Придёт, бывало, в магазин, станет в очередь – всё чин по чину, как положено, и может до белых мух простоять: то старушку пропустит, то инвалида, а то морда какая протиснется и, бесстыже зенки вылупив, заявляет: а я здесь стоял. И нагло так на Пашку смотрит, аж до печёнок высверливает. Засовестится Пашка от хамства откровенного, зальётся румянцем стыдливым, глаза отведёт и лепечет, да, да, конечно, может быть… А когда доберётся наконец до прилавка, то там уже и брать нечего, всё размели.

А с бабами и подавно конфуз полный. Иной раз приглянётся какая и сама вроде бы не против, уж и глаза поволокой, и локоток горячий в бок упирается, кровь разгоняет. И вдруг Пашка на тормоз давит. То ли грозный облик жены перед глазами в самый неподходящий момент встаёт, то ли робость природная тому причиной, то ли всё вместе, а в итоге полное разочарование и паническое отступление. В общем, кругом невезуха.

Валентина иной раз взглянет на Пашкины страдания, вздохнёт и посетует: эх, Пашенька, ты как не от мира сего. Вон у Нюрки мужик так мужик, за версту видать, а ты у меня как телёнок-сосунок.

Поначалу Пашка обижался, а потом свыкся и даже философски обосновал: матушка дочку хотела, а родился он. Вот и воспитала его незлобивым и покладистым. Знать, так на роду написано. Да и батя таким был, и дед, хоть и полный иконостас на груди из орденов и медалей. Судьба, а против неё не попрёшь.

А мужик у Нюрки действительно видный. С виду неказистый, так себе, хвост овечий, но голос! Голосище! А нрав-то, нрав! Не приведи Господи нрав. Добирается домой с работы никакой, на бровях, а слыхать его уже версты за три на дальних подступах.

– Нюрка, мать-перемать, кто в доме хозяин?

И не приведи Господи подруга жизни сплоховала, неуважительно встретила, всю неделю потом аргументом под глазом отсвечивает. И сразу всем ясно, и кто в доме хозяин, и кто вообще настоящий мужик.

А Пашка так, сопли одни.

Была у него страсть одна – дедов мотоцикл. «Харлей», трофейный, с войны дед приволок. Собрать-разобрать мог Пашка его с закрытыми глазами. Вычистил, вылизал, что-то заникелировал, что-то захромил, что-то заворонил, и получился не мотоцикл, а картинка. Иной раз

едет Аверьянов, будто с Олимпа на землю бренную снизошёл. Важно так едет, осанисто, по сторонам не смотрит. Больше сорока ровесник века не выжимал, но Пашке и этого выше макушки хватало.

Послала как-то его жена за хлебом. Ну возьми ж ты авоську и чеши пешком, как все нормальные люди. Так нет же, угораздило на своем антиквариате кур смешить.

Подъехал к магазину, хлеба взял, детишкам лимонада с конфетами и тихонечко так обратно движется.

Денёк на загляденье чудный, солнышко нежное, не жёсткое, ветерок ласковый и лёгкий. И так Пашке на душе благостно, что словами не передать.

Догоняет его «Жигуль». Новенький совсем, из себя красный, так огнём и пылает. А на переднем сиденье сам начальник районной милиции. Важный, неподступный, как и положено власти. Памятник. Монумент. Только лицо не бронзовое, а багровое.

Шофёр сигналит, требует на обочину свернуть – дорожка-то узкая, обочина пыльная – не резон машину пылью марать. А Пашка знай себе рулит, не поймёт, чего власть желает. Тогда уж сам начальник пальцем на обочину тычет, мол, принимай, сукин сын, вправо, освобождай путь, каналья.

Смотрит Пашка – мужики солидные, морды красные, по обличью начальство, значит. На всякий случай улыбается и головой кивает, здоровья желает. Ну а сам дальше рулит, бестолковый.

От дерзости такой и зловредного непочтения главный районный милиционер аж позеленел, а шофер на клаксон давит, и машина тоже на Пашку орёт, только по-своему, по-машинному.

Тут наконец дошло до Аверьянова, что хотят от него, да, честно сказать, струхнул. Ну кто знает, что у мужиков на уме-то. Чай, время нервное, перестроечное, ещё и по

шее накостыляют. А она, шея-то, всё ж не казённая, своя, родная.

Дорулил Пашка до родного забора, соскочил с «Харлея», сумки выкладывает.

Машина рядом приткнулась, пылью обдала. Вылетает из неё начальник, черк Аверьянова за грудки, слюной брызжет, аж заплевал всего, орёт, будто поросёнка кастрируют.

– Ты чего это, такой-сякой, быдло навозное, власть не уважаешь, путь не освобождаешь?!

Так орёт, словно его в светлое будущее не пускают. Пашка, ясное дело, растерялся, давай виниться. Мол, не знаком с вами персонально, потому и не признал, а то бы, конечно, со всем почтением. Уж простите неразумного. А начальник уже в раж вошёл, к машине тащит, засажу, кричит, мать-перемать, в КПЗ[1] сгною.

Тут жена Пашкина выскочила, дети высыпали, ревут в голос. Народ стекается, но близко не подходят, опасаются к власти в немилость попасть. Валентина слезу пустила, умоляет мужа простить, потому как непутёвый он, не мужик, а так себе, убогонький.

И так стыдно стало Аверьянову и очень даже обидно, что с ним прилюдно при жене и детях как с последним бродягой обходятся. Валентина к тому же на весь белый свет заявила, что не мужик он, а так, пиджак ношеный. Наплевали в душу всем скопом и растёрли.

И будто проснулось в нём что-то, взбунтовалось и наружу рванулось. За спины мужицкие кнутом полосованные, за ноздри рваные, за звон цепей кандальных, за всю вековую генетическую ненависть к барину сгрёб Павел Николаевич Аверьянов начальника за пиджак, легко ото-

---

[1] Камера предварительного заключения (в настоящее время – изолятор временного содержания) – место временного содержания арестованных.

рвал от своей стиранной-перестиранной рубашки вместе с пуговицами и выдал:

– Не начальник ты никакой, раз ведёшь себя так, а босота последняя. Хамлет драный. С вилами тебе работать, не с людьми.

И послал. Громко, отчетливо и очень даже далеко.

Дерзость, что ни говори. Бунт. Терроризм. Сегодня начальника милиции посылает, за грудки берёт, а завтра на самого, страшно подумать кого, руку поднимет? Дошёл мужик до ручки, пора укорот давать.

Жена было по привычке на Пашку накинулась, но тому уже шлея под хвост попала, закусил удила. Пустил благоверную по матушке да ещё кулаком пристукнул. По мотоциклу, конечно. Чтоб знала, с кем дело имеет. Мужик он, в конце концов, иль мебель в интерьере?!

Та сразу: «Паша, Пашенька», словно мёдом помазали. Зауважала. И Пашка уже не Пашка, а будто Нюркин мужик, настоящий.

Недолго длился праздник души. Подлетела «канарейка»[1], выбросила дюжих милиционеров без комплексов, и те, огрев для порядка пару раз «террориста» дубинкой, скрутили руки и кинули в «стакан»[2].

В тот же день судья определил Павлу Николаевичу Аверьянову для осмысления своего места в сложной жизненной иерархии пятнадцать суток. На всю катушку. Задумался Пашка: «Ну почему жизнь такая нескладуха? Себя уважать и то не велено. Каждый норовит пройти по тебе, ноги вытерев».

На «Харлее» Пашка больше не ездит. Ну его, ещё на прокурора нарвёшься.

А начальник милиции мужик вроде ничего оказался. Обходительный. Пока Пашка гараж ему дома варил да

---

[1] Милицейская машин, окрашенная в желтый цвет с синей полосой.

[2] «стакан»- отделение в автомашине УАЗ для перевозки задержанных.

отопление подправлял, один раз сигареткой угостил и два раза поздоровался. Кивком, правда. А что кричал, так работа у него такая, очень уж нервная.

После отсидки вернулось всё на круги своя. Опять верховодила в семье Валентина, хотя и с оглядкой, и Пашка вновь безропотно сносил пинки жизни. Только иногда нет-нет да полыхнет в зелёных Пашкиных глазах огонёк, словно отсвет сполохов пожаров. Наверное, память генетическая даёт себя знать. А так Пашка тихоня, слабак, одним словом.

1991 г.

ПРЕДЧУВСТВИЕ

Андрей Павлович, по подворью Гаранин, с вечера долго не мог уснуть. Сон не шёл, гонимый каким-то внутренним беспокойством. Обрывки мыслей беспорядочно то переносили в прошлое, тасуя возникающие картины карточной колодой, то возвращали в сегодняшнее. Да и старый продавленный диван с просевшими пружинами и местами выеденным мышами нутром вдруг стал неудобным, каким-то кочкастым и жёстким. К тому же вроде бы и хворь достала, и в то же время не сказать чтобы что-то так уж очень и болело. Какая-то немощь сковывала, пеленала, забирала силы. «Что-то ты совсем заблажил, старый», – посетовал на себя Андрей Павлович, но всё-таки встал, с натугой на плохо слушающихся ногах протащил себя на кухню, налил чашку воды, отпил пару глотков и обессиленно вернулся обратно.

Далеко за полночь забылся, словно провалился во что-то тёмное и вязкое, и очнулся уже с рассветом. Сквозь давно не мытое стекло проливался сизый свет, размывая очертания предметов.

Он сполз с дивана, сунул ноги в старые, но удобные своей просторностью туфли с облупившимися носами и вышел во двор.

Село просыпалось. У Коркиных, соседей слева, заполошно заорал петух, будоража округу. Через дорогу, видно у Савкиных, загремел подойник: знать, Пелагея вышла доить свою Зорьку. Из будки высунул голову Звонок, широко зевнул по всю пасть, обнажая жёлтые, от старости покривлённые клыки, потом вытащился целиком, потянулся, сделал два шага в направлении хозяина и снова улёгся на вытоптанную им же землю.

– Ну, ты, брат, совсем распаскудился, уж и голос подать лень. Так-то ты хозяйское добро сторожишь, дармоед, – Андрей Павлович ворчливо зачерпнул из ведра черпак воды и плеснул её в собачью миску. – На, попей водицы. Вот помру – совсем один останешься, кто тебя тогда на свой кошт возьмёт, такого старого и ленивого?

Гаранин вдруг поймал себя на мысли, что, может быть, он действительно сегодня умрёт, и сначала ему стало как-то неуютно от осознания этой неизбежности, а потом сразу как-то легко и свободно. Так вот почему не шёл сегодня сон, так вот почему силы покинули его высохшее тело.

Он подошел к псу, медленно и как-то излишне осторожно опустился на корточки, положил руку с косицами туго переплетенных вен на собачью голову:

– А ведь и взаправду помру я сегодня, паря. Дай-ка я тебя с цепи спущу, брат, тоскливо, небось, на цепи-то всю жизнь сидеть…

Он расстегнул ошейник и вместе с цепью отбросил в сторону. Пёс поднялся, пытливо заглянул в глаза хозяину, вдруг лизнул прямо в лицо горячим шершавым языком и по-щенячьи жалостливо заскулил, ткнувшись ему в острые колени.

– Ну-ну, без нежностей, чего ты, дурень, пора уж мне.

Гаранин прошёлся по двору, зачем-то поправил завалившийся столбик вросшего в землю штакетника и вздрогнул от некстати ворвавшегося в мысли крика коркинского петуха.

– Эк тебя, болезного, чёрт корячит, – чертыхнулся старик и заглянул за забор.

На стелющейся ветке грецкого ореха горделиво восседал огненно-рыжий, осанистый петух. Он любил наблюдать за ним, подслеповато щуря выцветшие глаза.

Вот петух, скосив жёлтый глаз на обнаруженное в земле зёрнышко, радостно возвещал о своём открытии, зазывая свой гарем на трапезу, после чего важно и горделиво окидывал округу.

Вот, распластав в стороны крылья и пригнув к самой земле вытянутую шею, нёсся за улепётывающим котом. Распушив хвост и вытаращив глаза, кот взлетал по стремянке на чердак и укрывался в пропахшем мышами залежалом сене, а петух, рассекая крыльями тугой утренний воздух и выгнув шею, издавал победный клич.

Вот он, до этого лениво прохаживавшийся по двору, вдруг срывался и, чертя жёстким крылом землю, устремлялся за орущей курицей.

– Здорово, Палыч, – окликнул соседа Коркин, дородный мужик лет пятидесяти, лениво потягиваясь и зевая. – Ты чего это спозаранку по заборам лазишь?

– Здравствуй, Василий, да вот на твоего кочета любуюсь.

– А чё, справный петух, дурной только – орёт ни свет не заря, всю округу на ноги поднимает. Ну ничего, я ему к ноябрьским сделаю усекновение головы – то-то лапша наваристая будет, а себе нового заведу. Надо породу улучшать. Так что, Палыч, по осени лапшички отведаем.

– Да не губи ты красоту такую. На породу моего лучше возьми. Он до кур уж очень охоч, уважает это дело, а на лапшу я тебе двух курок дам. Несушки никакие, а на мясо в самый раз. – Андрей Павлович помолчал и вдруг неожиданно добавил. – А я, Василий, сегодня помру.

Последние слова соседа застигли Коркина как раз в тот момент, когда он растянул во всю ширь толстые, густо поросшие волосом руки, прогнув назад спину. Сначала он оторопело застыл, туго соображая, что ж это такое сказал сосед, а потом, бросив руки вниз, очень веско изрёк:

– Ты, это, того, Андрей Палыч, не мели попусту. Она, мысля-то, ить, штука матерьяльная. Господь сам знает, когда прибирать нас. Эк, додумался такую глупость сморозить, – он укоризненно покачал головой. – Не гоже так, не хорошо.

Андрей Павлович смутился, сполз с забора и поковылял к калитке. Он ещё не решил, куда и зачем идёт, но оставаться на месте не хотел.

Солнце уже облизало коньки крыш и теперь путалось в густой кроне старой ветлы у колодца. Андрей Павлович неторопливо брёл по улице, по самой средине, а из дворов то тут, то там доносились звон подойников, мычание коров, гомон птицы и ленивый брёх собак.

Дойдя до околицы, он опустился прямо в седую от пыли полынь и долго-долго смотрел на убегающий к самому лесу шлях. Да, жизнь пролетела, как один день, – подумал Андрей Павлович и вздохнул. – Вроде и недавно совсем вот здесь встречала его Пелагея с войны, а уж и жены нет – Господь прибрал аккурат на страстной неделе уж три

года назад. Да и село не узнать, совсем другим стало. Вон дома какие отгрохали, асфальт проложили, из нужды выбились – только бы жить да жить. А вот веселья прежнего и простоты не стало. Не собирается молодёжь на выгоне, не рвёт тишину ночную тальянка разудалая. Да и молодёжи, по большому счёту, почти не осталось. Чуть станут на крыло и сразу же в город подаются. А там как же жить без корней своих? Пожалуй, ушла душа из села за околицу, да вернуться позабыла.

Он посидел какое-то время, потом тяжело поднялся, окинул ещё раз открывающуюся даль, синеющий на горизонте гребень леса, стелющийся по самому логу туман и едва различимые вербы вдоль речушки и побрёл обратно.

У калитки переминался с ноги на ногу Коркин

– Ты, Андрей Палыч, тово, боронки мне свои не позычишь?

– Да бери. Только на что они тебе сейчас, чай, лето ж на дворе, не весна. Что бороновать-то надумал?

– Дык я так, на всякий случай. Да не, ежли ты не помрёшь, так я возверну, мне чужого не надо.

Коркин вошел вслед за Андреем Павловичем во двор и хозяйским взглядом окинул покосившуюся сараюшку, скособоченное крыльцо, позеленевший от времени шифер. А ведь лет эдак с десяток назад справное хозяйство было у соседа. Да, не должен человек бобылём век доживать, неправильно это.

– А хозяйство кому отпишешь?

– С собой не заберу, не боись. Мне на том свете оно без надобностев. Бери боронки-то насовсем, во-он под навесом дожидаются.

Коркин подошел к сараю, ухватил в каждую руку по боронке и быстро-быстро засеменил к калитке. Андрей Павлович не обиделся торопливости соседа: хозяйственный он мужик, вдаль смотрит, но в душе остался осадок.

Как-то не по-христиански Василий поступил, Господь может и не одобрить.

Он вспомнил, как в сорок четвертом в Белоруссии Петьке Варакину срезало осколками подошву на кирзачах и иссекло голенища. Взводный посоветовал тогда:

– Ты, Петро, сыми сапоги с убитых, мне в строю боец нужон.

Варакин поостерёгся по полю ходить: вдруг на немца-подранка нарвёшься и пулю схлопочешь. Подошёл к лежащим в сторонке убитым бойцам, долго выбирал подходящие сапоги, тщательно осматривая подошву, иногда простукивая её, пока не остановился на сапогах ездового Сапегина. Взводный был на все сто прав: всё равно похоронная команда сняла бы не только обувку, но и ремни, и шинелку, ежли не очень попорченную, да только не одобрили бойцы Варакина, а пулемётчик Сивков так прямо и сказал:

– Не гоже так, Пётр, со своих снимать – примета плохая. Уж лучше с немца.

– Нешто, ему таперча всё одно, а мне ишшо немца бить надо. А ты, собственно, что против командирского приказа имеешь? – Варакин натянул сапоги, притопнул, похлопал по голенищам и поднял недобрый взгляд на Сивкова.

Тот ничего не ответил, только ушел в дальний угол окопа от греха подальше.

Только полчаса спустя невесть откуда прилетевшая – одна разъединственная мина легла аккурат под ноги Петра Варакина, оторвав их ему по колени (обе ноги) вместе с сапогами.

Андрей Павлович поморщился от некстати вспомнившейся давней истории и мелко перекрестился:

– Да что ж это я так о Василии-то? Не приведи Господи, беду накличу на соседа, дались мне эти боронки, будь они неладны.

Он суетливо прошёлся по двору, заглянул в сарай, вынес оттуда литовку, ногтем щёлкнул по полотну. Сталь отозвалась долгим тонким и чистым звуком, словно маленький колокольчик уронил серебряный звук в росных травах в лугу за рекой. Потрудилась коса на своём веку всласть – вон как сточилась, а металл знатный, могли ж делать, когда захочется.

Он ещё раз щёлкнул по металлу, с удовольствием послушал звук и пошёл к забору.

– Василий, а Василий? – окликнул он соседа и извиняюще попросил. – Возьми ещё косу-то, мне она тоже без надобностев.

Коркин с готовностью подошёл к Андрею Павловичу, взял косу, прикинул длину ручки – маловата, пожалуй, но не беда, можно и свою приладить, – и, ещё раз окидывая хозяйским взглядом соседский двор, произнёс:

– Ты, Андрей Палыч, ежли ещё что надумаешь, скажи, я не откажусь.

Андрей Павлович кивнул и побрёл, ссутулив плечи, к крыльцу. Войдя в горницу, достал из шкафа припасённый на смерть костюм и рубашку, аккуратно сложил их на табурет, рядом поставил почти новые туфли, взял веник и подмёл пол.

Управившись, он вышел во двор, набрал в ведёрко песку, взял лопату и побрёл на кладбище. Могилы Пелагеи и сына были рядышком, и он с каким-то внутренним удовлетворением отметил: ну вот, скоро опять будем все вместе. Песочком просыпал вдоль холмиков, присел на лавочку, закурил.

Жизнь прошла, пролетела сполохами зари, вроде и не жил вовсе. Не довелось внуков попестовать – рано ушёл Толя, ох, рано. Оборвался род Гараниных, несправедливо как-то: единственный сын был, а и того Афган забрал. У Савкины оба сына воевали и целёхонькими вернулись, а у

них одного отцы-командиры не уберегли. Хотя грех так думать: для родителей что один сын, что двое – всё одно рана открытая.

Солнце потянулось в зенит, а он всё сидел и сидел, задумчиво повесив голову, вороша в памяти жизнь прожитую.

Коркин возился во дворе, когда соседский пёс вдруг завыл протяжно, будто застонал, и от этого воя ему стало не по себе. Он заглянул через забор, но соседа нигде не было.

Андрея Павловича нашли на скамье – он так и умер, как сидел, склонив голову. Среди своих.

2005 г.

ВСТРЕЧА НА КОРДОНЕ

Дорога петляла между кряжистыми вязами, спотыкаясь на корнях, узловатыми венами вздыбивших грунтовку.

Водитель, чертыхаясь, остервенело крутил баранку, без конца притормаживая.

День прошёл бестолково, и под вечер решили заглянуть на старый кордон. Со слов участкового, прижился там какой-то странный мужик, то ли бич, то ли просто блаженный.

Выскочив на поляну, «уазик» грузно осел, смяв ковёр иван-чая. Из-под крыльца выкатился клубок шерсти в репьях и соломе, закрутился волчком и отчаянно залаял.

«Знать, хозяин где-то рядом, раз так исправно отрабатывает пёс свой кусок хлеба, – подумал я. – Собака, как и человек, в одиночку смелостью блещет редко».

Из приоткрытой двери показалась сначала спина, обтянутая старенькой, в разводах пота, клетчатой рубашке, а

затем и её владелец, тащивший волоком, покряхтывая, молочную флягу.

На наше приветствие мужик что-то неразборчиво буркнул и неприязненно окатил на удивление пронзительной синью глаз. Что-то неуловимо знакомое мелькнуло и зацепилось, занозило в мозгу.

– Водички не дадите? Жарко очень.

Мужик ничего не сказал и молчком скрылся в доме.

– Лешак болотный, – хрипло пробасил участковый, провожая взглядом удаляющуюся спину.

Вернулся хозяин быстро, держа старый, с оббитыми краями, глиняный кувшин и вместе с кружкой молча протянул нам.

Аромат и неповторимый вкус резковатого, с кислинкой, берёзового сока, настоянного на мёде и лесных грушах, возвращал к жизни.

– Что ж вы так неприветливы? Иль гостям не рады? – попробовал я на прочность стену неприязни.

– А кто вам радуется? Всё ищете, вынюхиваете, а потом раз-два и в подвал.

– Ага, как в песне, кто честно жить не хочет, – с неменьшей неприязнью вставил слово участковый.

Но шутка не прошла, и лёд в глазах незнакомца не растаял.

– Что смотришь, аль не признал? – мужчина ухмыльнулся.

Неужели Кузнецов? Вот так встреча. Да как не помнить тебя, Кузнецов… Непростым ты оказался орешком. Весь зашторенный, застёгнутый по самую макушку. Не нашёл к тебе подхода, не раскрылся ты тогда, даже досадно. Хоть и давнее дело, а помнится как сегодняшний день.

Укрылся он тогда на старой мельнице у заброшенного, в тине, пруда. На наши призывы сдаваться обкладывал

матом, и летела навстречу арматура, сбивая сухие ветки с деревьев.

– А-а-а, кнуры[1] паршивые! Не дамся! Выкуси! – орал Кузнецов, щедро рассыпая отборным матом, и совал в окно замызганный кукиш.

Собрались вызвать подмогу из райотдела с «черёмухой»[2] – лезть на рожон не больно то хотелось. Но всё закончилось до прозаичности быстро и просто. Участковый Колыхалов, хотя и крепко скроенный, но склонный к полноте, взобравшись на чердак, не рассчитал прочности потолочных перекрытий и собственного веса и рухнул вместе с ними на спину Кузнецову, прижав к земле.

А потом быстренько слепили ему простенький грабёжик по заявлению пропойцы-шабашника, да на три года отправили на казённый кошт.

Вроде бы всё сходится: и часы взяты, и пострадавший вот он, с глазами, шныряющими по столу, и грабитель налицо, а ощущение недосказанности, непонятости осталось. И чувство вины при этом.

Кузнецов неторопливо достал «беломорину», размял, постучал о ноготь, прикурил. Всё сделал основательно и спокойно, по-хозяйски. Потом поднял взгляд пронизывающих чистотой глаз и, выдохнув, продолжил:

– Ты вот думаешь, почему я весь крученный? Из одних углов да все острые? Так жизнь меня ломала, мяла, на излом брала. Я ж каждого знаю, как ту книгу: читать начал, а конец уже ведом. В каждом дермецо есть: только одни напоказ выставляют, а другие прячут. Как ни скрывай, а оно наружу всё одно прёт.

Кузнецов опять затянулся и выпустил длинные кольца. Дворняга приткнулась к его сапогу, скосив глаз на гостей.

---

[1] Кнур (разг.) – хряк

[2] «Черёмуха» – спецсредство (слезоточивый газ).

– Было мне лет тринадцать-четырнадцать, точно не помню. Пошли мы в Молотовский клуб. Фильм шёл американский. Для нас, для пацанов послевоенных, ещё какая радость была! Отец-то у меня в сорок втором под Барвенковым сгинул, так что копейки лишней в семье не было. Нас-то у мамки пять ртов было. Я самый старший.

Жили мы бедно, но не крысятничали. Помогали друг другу, как могли. На кино дядя Саша давал, инвалид с нашего двора. Потом его трамваем зарезало. Без ног он был, на базаре с шапкой сидел. Орден на ватник нацепит и две медали – вот люди медяками да гривенниками его и оделяли. Мы папирос ему настреляем да чинариков, а он нам на кино давал. Так вот, пришли мы в клуб, а там ремонт. Будку с кассой на улицу вынесли. Провели электричество, плитку поставили, чтоб кассирша не мёрзла. Да она бы и так не замёрзла – на три пальца сала да шуба собачья. Тоськой звали, а кликуха у неё была «мать-Россия». Как чуть что, так орёт: «Эх ты ж, мать-Россия!».

Ну, купили мы билеты, стоим, ждём, когда запускать начнут. Ремонт на первом, зал – на третьем, а на дворе декабрь и морозище до костей пробирает. Стали просить Тоську в коридор пустить, погреться, а она ни в какую. Стервозная баба, своих детей не было, а нашу детвору на дух не выносила. Ну, кто-то из ребят и обложил её по матушке. Та, недолго думая, милицию вызвала.

Как назло, хахаль её дежурил в тот вечер, Иван Максимович. Ну, прибыл он с нарядом. Все врассыпную, а я стою, дурак, вроде как ни при делах. Что, думаю, зазря бегать, вины-то моей никакой.

Вот и дождался. Взял он меня за палец и повёл в отделение. По дороге я раз пять чуть не описался: идёт и мизинец, гад, крутит да ещё лыбится:

– Кину захотел, щенок? Вот щас покажу тебе кину.

И показал. Их там трое жеребцов было, здоровые бугаи, как на подбор, племенные. Увидели, озлобились, и давай месить. Я хоть и мальцом был, а жилистый, терпеливый. На харьковских рынках и не такую трёпку задавали.

Притомились они, прикурить присели. Отполз я в угол, от боли и обиды ворот телогрейки грызу. Характер у меня уже тогда был дай Боже. Вот я им из угла и выдал:

– А зарплату вы не отработали. Так, рубликов на восемьсот только.

Им тогда по 1400 платили старыми, до первой реформы ещё. Здорово на них не разгуляешься, так, слёзы одни, но паёк давали, форму и всё такое прочее. Вот некоторые и пригрелись там. Взвились они, цигарки на пол побросали, и давай меня по полу катать. Били – аж в глазах то озарит, то потемнеет.

Умаялись, видать, соколы, отошли, воду пьют, на меня поглядывают. А Иван Максимович скалится: ну как, щенок, отработали зарплату?

Мне бы смолчать или поддакнуть, так нет же, норов показываю. Очень уж больно он бил, больше всех старался. Сам мосластый, здоровый, на шахте бы пахать, а он здесь пристроился.

Нет, говорю, рубликов двести задарма получите. И кровь ему под ноги сплёвываю на сапоги начищенные. Он аж побелел весь и ко мне.

На счастье, майор зашёл, начальник ихний. Бить не дал, сказал, чтоб домой катился. Иван Максимович и тут не стерпел, на прощанье такого пинка отвесил, что метров пять по воздуху руками молотил, пока в сугроб не зарылся. Поклялся тогда: вырасту – кишки ему на нож намотаю.

Кузнецов неторопливо достал новую папиросу, медленно раскурил. Мы сидели молча и слушали этого странного человека.

– Лет через пятнадцать, – продолжал Кузнецов, – встретил я своего обидчика. Иду по дороге города родного, медалька за целину на пиджаке цокает. Девчата глаз косят. Парень я фасонистый был, видный. Иду, значит, по тротуару, каштаны свечи развесили, сирень духом с ног сшибает, солнце слепит – благодать. Под аркой «Победа» стоит, а из-под капота галифе торчат. Мне бы мимо пройти, так нет же, дай, думаю, помогу человеку. Подхожу, значит, здороваюсь, так, мол, и так, папаша, чем помочь. Вылазит он из-под капота – майка синяя, галифе со штрипками, тапочки на босу ногу. Живот висит, будто двойней беременный – боже мой, Иван Максимыч собственной персоной.

По роже и не признать сразу. А глазки на два полюса, хозяйско-холуйские, не изменились.

Глянул на него, аж рёбра от давней боли заныли, но злости нет. Простил уж давно. Столько мерзости потом в жизни повидал, понял, что много их, таких вот Иван Максимычей, по жизни на нашем пути понатыкано, тьма беспросветная. Ну, я кепочку с пуговкой с головы долой, к нему подступил, раскланялся. Мол, не узнаёшь корешей давних, Иван Максимыч, или не припоминаешь, как умуразуму учил своими кулачищами мальчонку голодного.

Тут он пятнами пошёл и в росте убавил, а пот на лысине – будто бисером обсыпали.

Что, говорю, Иван Максимыч, не бедствуешь, машинкой разжился. Я-то знал, что он потом на складе старшиной пристроился и нахапал – внукам хватит. Банд много тогда шастало. Что конфисковывалось – к нему на склад рекой, а оттуда ручейками по начальству да знакомым. Те, кто на ножи бандитские шёл да на пули, так и проходили всю жизнь в одних штанах казённых. Совесть чистая да поклон низкий от людей спасённых – вот и весь их капитал. Это иваны максимовичи, что с пацанами воевали да

шмотки по норам растаскивали, на машинах ездить стали, барами по жизни пошли.

Посмотрел я на его мучения и говорю: садись, мол, за руль, движок погоняй, а я тут посмотрю. Просто так сказал, по-человечески. А он вызверился. Иди, говорит, отсюда, харя уголовная.

Тут меня словно кипятком ошпарило. Это я-то харя? На свои кровные от получки до получки, чужого сроду не брал, не то что он. Черканул я с капота отвертку и к нему: ты ж в долг живешь, гад, ну, щас я твой зад в сеточку распишу.

Он как шаркнет от меня, только пятки засверкали. Так мы вокруг машины кругов пять нарезали. Орёт он, как резаный, а от машины ни на шаг. Жалко, видать, машину-то. Думаю, запалю, как кабана, ещё помрёт. Бросил я отвёртку и ушёл.

Кузнецов умолк, пососал мундштук потухшей папиросы:

– Вот так, парень, и живём. Жрём, кто послабше, а сильных не трогаем. Себе дороже. Много среди вас иван максимычей, ох и много. А, впрочем, где их мало. Сидят по тёплым конурам, что кабинетами зовутся, родственников и кумовьёв рассовали, щупальцами своими погаными опутали и владеют нами. А мы как были быдлом, так и остаёмся. Те часы, за которые ты мне срок намотал, мои были. И морду я ему набил за дело. Часики он у меня по пьяной лавочке выиграл в карты, а наутро я хотел забрать, а он ни в какую. Я же видел: всё равно не поверите, вот и смолчал. Ну да ладно, зла не держу, сам виноват. Езжайте с Богом. А чужих здесь не бывает. Лесник иногда заглянет, а так никого.

Сумерки сгущались, и давно пора было уезжать. Виновато попрощались и долго ехали молча, каждый в думы свои уйдя с головой.

Когда замаячили окраины села, участковый не выдержал:

– Сильный он мужик, Кузнецов этот, раз прощать может. А я бы на мозоль наступил бы этому Ивану Максимовичу, ой как бы наступил….

Жёлтые блины фонарей испятнали улицу, и до рассвета была целая ночь…

1990 г.

ВРАГИ

Иван Николаевич Скоробогат косил размашисто, от плеча, оставляя после себя широкий, чуть ли не в два метра, прокос с аккуратно уложенной в ряд скошенкой. Не коса, а косища, девятый номер, с такой не каждый и совладает. Поди понянчи такую – враз руки отвалятся, но только не у Скоробогата. Почитай, вот уж полвека сызмальства каждое лето выкашивает не одну делянку. Правда, последние годы всё меньше и меньше – два десятка кролей да пяток коз – много ли им надо.

Позапрошлой осенью, уже по пороше, свёл со двора Милку – недоглядел, застудил корове вымя, камнем взялось. Ветеринар Гузеев посмотрел, пощупал и категорично заявил: «Под нож твою худобу надо и чем скорее, тем лучше и для тебя, и для неё. Лечи не лечи, а толку не будет». Пробовал Скоробогат травяным отваром вымя обмывать и старым пуховым жениным платком пеленать, да только проку с гулькин нос.

Скоробогат на косовицу выходил, словно ритуал справлял. Сначала долго примерялся, косу правил, потом

ногтем, не прижимая, проводил по лезвию, проверяя остроту. Если оставалась белая полоска – удовлетворённо улыбался, затаивая улыбку в уголках губ. Ежели нет, то вновь пел брусок, скользя по сизому от закалки металлу.

Косить Скоробогата научил дед. Ещё та наука: становился старый сзади, а внука вперед пускал, и ну косой отмахивать – в-в-ж-ж-ж-ик, в-в-ж-ж-ж-ик. Холодит босые пятки пролетающая за спиной со свистом литовка, укладывая в аккуратный валок сивую от росы траву. До сих пор, как только вспомнит, страх студёным ручейком стекает меж лопаток у Скорбогата от той дедовой косы – не знал, что дед зорко выверял замах и успел бы придержать косу, чтобы не поранить внука.

Иван Николаевич последний раз взмахнул косой, оттягивая жало на себя в самом конце и чуть прижимая пяточку. Трава легла ровным рядком и умерла, стряхнув алмазные капли росы на сизое полотно литовки.

Захватив в горсть пучок отавы, он обстоятельно вытер косу, воткнул острым концом косья в землю, достал из кармана широких брючин пачку «Примы», прикурил, с наслаждением затягиваясь горьким дымом, и, щуря карий, с жёлтыми крапинками, глаз, посмотрел на луг за ручьём.

Сват Иван Савельевич Кураев размашисто докашивал клин, подволакивая негнущуюся в колене правую ногу.

«Пожалуй, к обеду не управится, – машинально отметил Скорбогат и взглянул на поднимающийся из-за тёмно-зелёной гривы леса жёлто-розовый диск. – Солнце-то в зенит потянуло, через часок так загривок напечёт, что не до косовицы будет».

Скоробогат докурил сигарету, ещё раз взглянул сначала на выкошенный луг, потом на сватов клин и, подхватив косу, размашисто зашагал напрямик через заросший рогозом ручей.

Так себе ручеек, без официального имени, хотя местные и кличут в шутку Шумивля, намекая на вздорный по весне характер. Сколоченный в незапамятные времена из двух жердей перелаз почти касался тёмной до черноты, с прозеленью, воды, а покосившийся поручень того и гляди подведёт в самый неподходящий момент.

С опаской Скоробогат ступил на настил, не опираясь, а только чуть касаясь для равновесия перил, перешёл на тот берег и окликнул Кураева.

– Здоровеньки булы, сваток. Щось ты припознывся. Давай пидсоблю, што ли.

Кураев остановился, смахнул со лба обильный, в крупную каплю, пот, достал из под аккуратно обкошенного куста крушины брусок и стал править косу.

– Давеча всё Раду, будь она неладна, смотрел, вот и пропустил зорьку, – виновато улыбнулся Кураев.

– Политика, значит, – зевнул Скоробогат, – ну и за кого же ты?

– А ни за кого, будь они неладны. Жили мы с тобой в одной стране, в одном селе и даже на одной улице. Не скажу, чтоб уж дюже хорошо, всяко бывало. В один год на службу призвали, в одном полку лямку тянули. По всем статьям быть бы нам и дальше вместе, а оно вон как обернулось. Вот я – русский, был им до девяносто шестого года, а нынче по новому паспорту украинец. А вот ты украинец, а по паспорту русский. Это как понимать? Ручей вот этот теперь граница. Петька мой твою Настю замуж взял, пока у тебя живут, а внук ко мне в школу ходит, потому как она теперь на украинской территории. Получается, Петька для Настюхи чужестранец, Настюха для него тож чужестранка, а вот как с внучком быть? Как ни крути, а выходит, что он нам обоим иностранец то ли по отцу, то ли по матери. Мы нынче, сваток, по всем статьям с тобой враги.

– Це як же так, – опешил Скоробогат, – ты шо мелешь-то?

– А что? По газетам да по ящику выходит, однако, что мы с тобой как есть враги смертные. Ты ж теперь москаль и, стало быть, сначала всю жизнь меня мытарил, сало моё ел, и зенки бесстыжие не повылазили. Опять же из Крыма уходить не желаешь. Мы в НАТО собрались, а ты кран газовый крутишь. Это, сваток, опять-таки непорядок, не по-братски, раз норовишь газ-то втридорога загнать.

– А ты як же хотив? Задарма на моей шее сидеть? Вот тебе, а не газ, – Скоробогат свернул заскорузлыми пальцами здоровенный кукиш и сунул его под нос свату. – Пусть тебе твоё НАТО газ задарма даёт.

– Вот ведь как получается, – таил Кураев в усах усмешку. – Я тебе вчерашнюю передачу пересказал, а ты мне дулю под нос суёшь. Несознательный ты у меня, сват. Вот так за колья возьмёмся и начнём тузить друг друга: ты меня за Россию, а я тебя за ридну неньку Украйну, незалэжну и самостийную. А когда опомнимся – поздно будет. Не получилось у «фрицев» на загорбок к нам забраться, потому как мы худо-бедно, а друг за дружку держались. Теперича не мытьем, так катаньем зануздают и будут погонять, да так, что в мыло изойдём. Видал, небось, как американская чернявенькая Лизка, людоедка в четвёртом поколении, к нам зачастила. Тошшенькая, вся на советы изошла, хорошо хоть наши слухать слухают, а делать по-ихнему не спешат.

Мощно загудел шмель, делая плавный разворот над кучерявыми головками клевера, потом присел на одну из них, затоптался задними лапками, будто петух курицу оседлал, но задерживаться не стал, а тяжело, натужно гудя, оторвался и пошёл низко-низко, почти цепляя полыхающие алым свечки иван-чая.

– Я вот что думаю, – Скоробогат оглядел дрожащие в мареве дали и вздохнул, – это ж какую совесть иметь надо,

чтобы такую красоту за кусок колбасы ворогу отдать. Ну, с Юлькой понятно: баба, она и в Африке баба. Женский орган хоть и не Господь Бог, а великую силу мает. Та до трона доберётся и даст-таки пинка Ющенке под зад. Да и поделом будет. Как услышу этого красулю, так плеваться хочется. «Мой тятя к кофею в концлагере у немцев пристрастился», – передразнил Скоробогат украинского президента и сплюнул. – Это ж в каком таком лагере его кофеём поили, ты мне скажи? И чем он там так немцам угодил, когда другие не то что кофея, воды вдоволь не пили. Нет, правильно гутарят: яблоко от яблоньки недалече падает. Батя немцам прислуживал, сынок американцам, а всё одно выкресты.

Кураев задумчиво обвёл взглядом синевшую вдалеке полоску леса, помолчал и повернулся к свату:

– Сигареткой-то ворога угостишь? – лукаво усмехнулся Кураев.

Скоробогат протянул мятую пачку, дождался, пока сват зажмёт сухими губами сигарету, щёлкнул зажигалкой, потом прикурил сам.

Начинало припекать. Мокрые рубахи пошли подсушенными белёсыми разводами на лопатках и подмышками. Где-то высоко-высоко звенели серебряными колокольцами жаворонки, а по лугу стлался дурманящий медвяный запах разнотравья.

Скоробогат взглядом ощупал вокруг себя, нашёл среди травы проплешину с ладонь, поскрёб пальцами выгоревшую землю, вдавил в неё окурок, поднялся, прищурился на уже высокое солнце и размашисто перекрестился.

– Ладно, сваток, давай-ка я тебе подсоблю, пока в шинеля (он сделал ударение на последнем слоге) не нарядили нас, едрёна вошь, ваша Юлька да наш Чубайс. Хотя какие они, на хрен, ваши-наши – бушевские они. Только хрен им, а не маковую коврижку, – и он вновь сложил ку-

киш и выставил его куда-то в сторону леса, словно оттуда надвигалась беда.

И они пошли пластать звенящую под литовкой траву вразмашку, от плеча, шаг в шаг, уступом, словно по всем правилам военной тактики поднялись в атаку, и только растекалось над полем вырывавшееся из груди широкое и мощное «и-э-э-э-х» да вторило ему тонкое, как пение клинка, «в-ж-ж-и-к», «в-ж-ж-и-и-и-к».

2007 г.

НА НИКОЛУ ЗИМНЕГО

От автора

Этот рассказ написан по материалам уголовного дела в отношении одного из пособников оккупантов, которое вели в сорок третьем году отдел контрразведки НКО[1] «Смерш» 309 стрелковой дивизии и Управление НКВД по Курской области. Здесь нет вымышленных героев и событий — все имена и факты подлинные.

Иудино семя проросло в душах людей и дало всходы. Их было немало, тех, кто сознательно служил новым хозяевам с не меньшим рвением, чем прежней власти. Впрочем, им было всё равно, кому служить, лишь бы был кусок хлеба, да посытнее, лишь был бы угол, да потеплее, лишь бы была власть.

Поросль иудина рядится в добродетель, завидуя ближнему и строча доносы, получая свои тридцать сребреников орденами и квартирами, банковскими счетами,

---

[1] НКО – Народный Комиссариат Обороны

холуйствуя и унижая других. Она жива в любое время, буйно расцветая в тяжёлую годину.

20 октября 1941 года оккупанты заняли Ракитянский район. Незримая линия фронта пролегла по улицам сёл и городов, через семьи и сердца людей. Кто-то бросился восстанавливать взорванный отступающей Красной Армией завод, кто-то надел форму полицая, кто-то за пайку хлеба поспешил с доносом в гестапо. Вчера они были своими – сослуживцами, соседями, кумовьями... Теперь стали чужими. Наверное, нельзя судить их с высоты сегодняшнего дня. Кто-то стал на путь предательства из-за слабости или страха, а кто-то сознательно, ибо прежняя власть была для него хуже заклятого врага.

Так ведь не были обласканы ею ни Борзиловы, ни Замбургский. Первые безропотно тянули рабочую лямку на заводе, еле-еле сводя концы с концами, а второй вообще чуть не загремел в лагеря из-за своей шляхетской фамилии. Очень уж неблагозвучной показалась она советской власти. Не были в почете ни Илларион Ботов, ни Андрей Иванович Гуренко, ни Скабордина Мария, ни многие другие, не сдавшиеся и не покорившиеся оккупантам. Они были просто ЛЮДЬМИ – совестливыми, корнями вросшими в землю эту, не склонившими головы, принявшими смерть за други своя...

Смеркалось. Сумрак сначала заполз в терновник, сгустился, словно накапливая силы для следующего броска, и медленно расползся вдоль посадки. Со стороны Ракитного понизу потянул сиверко, срывая с поля ещё не слежавшийся снег, опушкой подбивая им густой подрост урочища «Зайчик». Выглянувший было с вечера тусклый диск луны затянуло сначала дымкой, а потом и вовсе скрыло набежавшими тучами.

Старший Борзилов, прикусив сухой стебелёк донника, напряжённо вслушивался в звенящую морозную тишину. Рядом ёжился Ванька, старший сын, сжимая побелевшими, в худых варежках, пальцами короткоствольный кавалерийский карабин. Чуть поодаль за кучей валежника притаился Замбургский, согревая дыханием озябшие руки.

– Терпи, казак, атаманом будешь, – подбодрил сына Борзилов и добавил: – А ночка-то хороша, наша ночка, как по заказу.

Со стороны Готни послышался сначала еле различимый звук, становившийся всё отчётливее и отчётливее. Старший Борзилов повернулся к сыну и глухо обронил:

– Дрезина. Приготовились.

Иван вжался в стылую землю, а Замбургский торопливо достал из-за пазухи ключ и вставил его в электродетонатор.

Из-за поворота показалась мотодрезина, выбивая на стыках рельс чечётку. Вот уже различимы немцы с поднятыми воротниками шинелей, натянутыми на уши пилотками. Ещё мгновение – и дрезина промчится мимо, оставляя за собой снежные буруны, но рука Замбургского повернула ключ. Из-под колёсной пары выбило огонь, вздыбило щебень, комья чёрной земли, шпалы и рельсы. Дрезина, заваливаясь на бок, ещё несколько метров вспарывала откос, пока не опрокинулась. Звук взрыва раскатился вдоль полотна, завяз среди нагих деревьев и совсем потерялся в поле.

Ванька подхватился и, не выпрямляясь, согнувшись и почти касаясь руками снега, рванулся было к дрезине, но отец успел ухватить его за валенок.

– Куда? Назад. Неровён час, подранок какой очухается и полоснёт очередью. Всё, уходим.

Они пересекли дорогу с наезженной неглубокой колеёй, добежали до кромки лесочка и бросились вдоль него в сторону заводского посёлка. Позёмка весело устремилась

вдогонку, заметая следы. Уже перед самым заводом в балке спрятали карабин, револьверы и электродетонатор, прикрыв их валежником и притрусив снегом.

Задворками пробрались к заводским домам, утонувшим по самые окна в сугробах. Тихо скрипнула калитка, на мгновение прорезала ночь узким лезвием полоска вырвавшегося из сенцев света, где-то на окраине тявкнула собачонка и тут же смолкла, словно испугавшись.

Ни Борзиловы, ни Замбургский не заметили, как шевельнулась занавеска в окне соседнего дома и внимательные, с прищуром, глаза проводили растаявшие в темноте фигуры.

Эхо взрыва накрыло-таки станцию, и минут двадцать спустя с Сумовской двинулись вдоль полотна полтора десятка солдат из взвода охраны, со страхом озираясь на насупленный лес. А со стороны Ракитного на трёх подводах устремились полицаи из местной комендатуры во главе с самим Качаловым, начальником районной полиции, на всякий случай сдерживая лошадей, чтобы не дай Бог раньше немцев не оказаться у злополучной дрезины и не нарваться на партизанскую засаду,

К обеду весть о взрыве облетела весь посёлок. Поговаривали, что немцев положили немерено, будто не дрезину пустили под откос, а целый эшелон. Кто-то равнодушно пожал плечами: чего после драки кулаками махать, немцы вон пол-России оттяпали, лучше уж не злить их. Кто-то злорадно ухмыльнулся: получили, гансы, по сопатке, то ли ещё будет! А старый модельщик Поповский, докурив самокрутку, аккуратно загасил окурок, обстоятельно ссыпал оставшийся табак в кисет и с горечью произнес:

– Ну что немцев тербанить? Зла пока никому не сделали, не то что свои паразиты. Повылазили крысами из подпола, подались в холуи немецкие, выслуживаются перед новой властью. Вон Безматьев с Белокуровым раньше в

активистах ходили, теперь три шкуры дерут с рабочего люда. Про Бондаренко вообще и говорить нечего: был член бюро райкома, а сейчас у немцев директорствует. Васька Дьячков, тот всё доносы строчит, кто в коммунистах али в комсомольцах ходил. Эх, и попёрла нечисть на свет Божий, и откуда столько? Вот кого изничтожать надо, а солдат он и есть солдат, что наш, что ихний. Служба есть служба.

Иван Белоконев оглянулся по сторонам и одёрнул старика:

– Ты, Пётр Васильевич, поостерегись вслух-то. Неровён час, услышит кто да донесёт. Вон давеча Шиянов, староста, сказывал, будто у Качалова везде свои люди. Вмиг донесут, не сносить уж тогда головы.

– Во-во, на это они и рассчитывают, что от страха пальцем не шевельнём. Сказывают, под Москвой им дали жару, так что попрут их наши вскорости, как пить дать попрут, – Андрей Гуренко со злостью рубанул воздух рукой.

– Ты чевой-то размахался? Чай, не мельница. Чего за разговоры ведёшь? Поповскому ладно, сам Бог велел болтаться, ждёт титьку от Советской власти. А вы марш работать, – подошедший механик Жовар исподлобья взглянул на мужиков и подтолкнул Белоконева в спину. – Иди, иди, не озирайся, а то охрану кликну. Ну а ты, Васильевич, – повернулся он к модельщику, – не надумал на завод идти?

– Погожу малость, мне спешить некуда, я своё отработал. Да и годы, поди, не те, чтобы спину на нового барина гнуть.

– А ты бы не о спине печалился, а лучше б о шее своей подумал. А то могут и петельку накинуть, не заржавеет. Время нынче мутное. Возле завода чтобы больше твоей ноги не было. Всё, ступай, старый, от греха подальше.

Наутро калитка в невысоком штакетнике Борзиловых, ударом ноги сорванная с петель, беспомощно повисла. Оступаясь на узкой, протоптанной в снегу тропинке, во двор

гурьбой ввалились местные полицаи во главе с Качаловым и столпились у невысокого крыльца. Услужливо выскочивший вперед Николай Белоусов забарабанил прикладом винтовки в дверь.

– Кого там нелегкая несёт, – неприветливо окликнул из-за двери женский голос.

– Отчиняй, Надюха! Давай, давай, гости пожаловали, – Белоусов ещё раз ударил прикладом в дверь и отступил на шаг в сторону, пропуская Качалова.

– Сейчас, сейчас, – за дверью засуетились, сбрасывая щеколду.

В передней сразу же стало тесно и мрачно от чёрных шинелей, и холодный морозный воздух заклубился, моросью оседая на стенах.

– Ой, да вы дверь-то причиняйте, не студите хату.

– А ну, собирайтесь-ка, – Качалов грузно опустился на выдвинутый ногой из-под стола табурет. – Ну что, Ефим, допрыгался? Где оружие?

– Какое оружие? Ты что, Алексей, али с похмелья? Моё оружие вот оно, завсегда при мне, – и Борзилов протянул мозолистые, с въевшимся машинным маслом заскорузлые ладони.

– Ты с кем разговариваешь, гад? – кулак Белоусова пришёлся в скулу. – Перед тобой сам начальник районной полиции!

– Ладно, оставь его, – снисходительно бросил Качалов, – там разберёмся. Берите его и его, – он показал пальцем на отца и сына, – и дуйте в район. А вы пошманайте тут, да хорошенько.

– Ой, лышенько, да за что уводите их?

– Молчи, баба, а то и тебя заберём. А может быть, и ты с ними ночью-то дрезину рванула, а? Ладно, ладно, живи пока, – Качалов снисходительно похлопал Надежду по плечу и уже от дверей, через плечо, небрежно обронил:

– Ты смотри, чтобы и второй щенок не доигрался.

Ефим Иванович отвёл рукой узелок с хлебом и парой луковиц, что невпопад совала Надежда, приобнял за худенькие плечи и глухо произнёс:

– Ни к чему это. Детей береги. Недолго осталось...

Он хотел ещё что-то сказать, но Белоусов саданул прикладом в плечо:

– А ну пошёл, не задерживайся!

– Ну и гнида же ты, Колян, дай хоть с бабой попрощаться. Ить ежели я приложусь, враз с исподников выскочишь, – Борзилов ожёг полицая недобрым взглядом, и тот попятился, вскидывая винтовку. – Но-но, не балуй, а не то, – он поклацал затвором, но на всякий случай отступил ещё на шаг.

Когда Безматьев, Кучеров и Рекант, толпясь в узком коридоре, вывели отца и сына Борзиловых, оставшиеся полицаи, безбоязненно забросив за спину винтовки, зашныряли по комнатам, встряхивая постели, ныряя в шкаф и пряча по карманам то хозяйский портсигар, то платок, а то вовсе какую-то безделушку.

Надежда, обмирая от страха, незаметно сунула под фартук две гранаты, что с вечера спрятал в сенцах первенец, и, взяв подойник, направилась в хлев. На крыльце притоптывал Белоусов, покуривая немецкую сигарету.

– Ты, Никитична, куда это?

– Повылазило, что ли, аспид? Корову доить, куда ж ещё. Постыдился бы, Николай, сосед как-никак, а тёмное дело творишь.

– На службе я, – насупился Белоусов и отвернулся.

– Да хошь и на службе, так не по-соседски-то ведь.

– Небось война спишет.

– Война-то, может, и спишет, да вот люди не простят. Что ж моим-то теперь будет? – со страхом и надеждой спросила Никитична.

– Знамо чево: стрельнут али повесят. Давечась девятерых солдат и офицера завалили твои.

Белоусов хотел ещё что-то добавить, но, споткнувшись о взгляд Никитичны, осёкся. Она, прижав ко рту ладони, зажимая рвущийся наружу крик, с лицом белее снега, медленно оседала в сугроб. Гранаты вывалились из-под подола прямо под ноги Белоусову. Тот минуту оторопело смотрел на них, потом перевёл взгляд в сторону и глухо обронил:

– Ну, чего раскорячилась, дура, проваливай, нечего тут отсвечивать.

Никитична, давясь рыданиями и ссутулив плечи, медленно двинулась в сторону сараюшки.

Белоусов воровато оглянулся по сторонам. Никого, лишь с ветки старого тополя чёрными бусинками глаз внимательно наблюдала ворона.

Полицай нагнулся и незаметно сунул гранаты в бездонный карман полушубка. Ворона хрипло каркнула и грузно поднялась с ветки, размеренно и плавно взмахивая огромными крыльями.

– Тьфу ты, чёрт, – сплюнул Белоусов и перекрестился. – Ить беду накаркает, нечистая.

– Ты чего это кресты кладёшь, гы-гы, – хохотнул Кузьма Терещенко с порога дома, распяливая на руках полушалок Надежды. – Иди скорей, а то подметут подчистую, трофея не достанется.

Белоусов помялся. Что-то ему расхотелось идти обратно в дом. А тут ещё эти гранаты, будь они неладны.

– Уж сами, без меня обойдётесь. Да и некогда мне.

Поддёрнув за ремень винтовку, он вразвалку направился к калитке.

Не доходя проходной, столкнулся с вывернувшимся из-за угла Белокуровым, правой рукой директора завода Бондаренко.

– Ты куда это, Спиридон Алексеевич, аль на пожар? – поинтересовался Белоусов.

– Куда-куда, али не видишь, что по делам. Этих-то увели? – он кивнул в сторону дома Борзиловых.

– А как же, тёпленькими взяли. Сам Алексей Иванович руководил, – Белоусов степенно отряхнул снег с полушубка.

– А обыск сделали? Нашли что-нибудь?

– А что искать-то? – насторожился Белоусов, пряча взгляд.

– Эх вы, помощнички. Вам бы только самогонку жрать да баб щупать. За всем глаз да глаз нужен.

– Да нешто, – протянул Белоусов. – Коли оружия не найдут, так добро конфискуют.

– Вот, вот, так и знал. Башибузуки, янычары, махновцы, – взвился Спиридон и бросился к дому Борзиловых, размахивая руками и сыпя бранью в адрес полицаев

– Поспешай, Спиридон Алексеевич, поспешай, а то аккурат к шапочному разбору попадёшь, – крикнул вдогонку Белоусов и смачно сплюнул. – Живоглот поганый, мало тебе Советы хвоста щемили.

Заворачивая за угол, оглянулся: долговязый полицай Иван Жуков силился оторвать отчаянно матерившегося и клещом вцепившегося в швейную машинку коренастого Спиридона.

Надежда Борзилова не находила себе места, маялась, а потом упала на лавку и зашлась в тоскливом бабьем вое. Наутро, враз постаревшая, с почерневшим лицом, постарушечьи, с трудом доковыляла до заводской конторы.

Секретарша Лидка, смазливая бабёнка, не стесняясь людских пересудов и напропалую крутившая и с немцами, и с мадьярами, и местными полицаями, долго мучила расспросами: что, зачем да почему, потом снисходительно кивнула на дверь директора завода:

– Ладно, проходи

Прямо с порога Надежда Никитична бухнулась Бондаренко в ноги:

–Михаил Моисеевич, отец родной, заступничек, не губи мужиков, замолви словечко. Не виноваты они. Пускай хоть сына отпустят.

Она ползла к нему на коленях, хватая за обутые в добротные бурки ноги в чёрных суконных галифе, а директор пятился к столу, пытаясь вырваться из её рук. Наконец ему удалось освободить одну ногу, и он со злостью ударил Надежду в лицо.

– Пошла вон! Небось, радовалась, когда муж в партизаны шёл?

– Да какой он партизан? Не виноват он, истинный крест не виноват!

– Ты, дура баба, руками тут не маши и Бога не гневи. Знаем, что он за фрукт и зачем в поселок вернулся. Был я на том бюро райкома, когда его с Замбургским оставляли для диверсий в тылу. Думал, не посмеют, коли немцы у самой Москвы, не стал их трогать. Так нет же, неймётся.

– Ты, Никитична, не девка малая, сама понимаешь, что к чему, – подал голос сидевший поодаль на кожаном диване Качалов. – А на нас зла не держи – мы на службе. На своего лучше обижайся – и сам в петлю полез и сына следом потащил. Вы что думали, немцы вам своих десяток загубленных душ спустят за просто так? Держи карман шире! Слава Богу, хоть без заложников обошлось, а то бы полпосёлка в расход пустили бы. Так что ступай домой от греха подальше.

– Хоть бы свиданку с ним, а?

– Свиданку, говоришь? – Бондаренко переглянулся с начальником полиции. – Ну что, Алексей Иваныч, дашь им свиданку?

Качалов отвернулся к окну, помолчал и глухо сказал:

– А ты завтра к обеду приходи к заводу, там и повидаешься.

И по тому, как он произнес эти слова, по тому, как сидел вполоборота, закинув нога на ногу, и по мелькнувшей на лице Бондаренко ухмылке она поняла, что завтра случится что-то страшное, ужасное, непоправимое.

Сначала подкатил в кошеве, запряжённой серым в яблоках жеребцом, начальник полиции Качалов. Спрыгнув на поскрипывающий снег, небрежно бросил подбежавшему Безматьеву вожжи и подошёл к Бондаренко, стоявшему поодаль вместе со Спиридоном Белокуровым, механиком Жоварь, Вакуленко и Мальчевским. Рядом переминались с ноги на ногу местные полицаи в чёрных шинелях с серыми суконными воротниками и обшлагами на рукавах. Подошёл староста Шиянов, степенно поздоровался с каждым за руку и что-то зашептал на ухо Качалову.

Минут через пять послышался натужный звук карабкающейся на пригорок машины. Крытый грузовик притормозил на площадке перед проходной, и из кабины спрыгнул на утоптанный снег высокий офицер. Качалов торопливо подбежал к нему, бросил руку к шапке, что-то сказал. Потом, повернувшись к полицаям, махнул рукой:

– Давай.

Приехавшие немцы стояли в стороне, покуривали, изредка перебрасываясь фразами и наблюдая, как эти русские суетливо перебросили верёвки через перекладину заводских ворот, сделали петли и подобострастно впили взгляды мутных от пьянства глаз в Качалова. Тот опять подбежал к немцам, козырнул, что-то выслушал и уже оттуда ещё раз крикнул:

– Давай!

Полицаи сначала замешкались, потом неловко полезли в кузов и сбросили на снег Ефима Ивановича Борзилова, его сына Ивана и Владимира Яковлевича Замбургского.

Спрыгнувшие следом полицаи рывком поставили их на ноги и, подталкивая в спину, повели к воротам. Они шли с трудом, загребая снег босыми ногами, в разорванных у ворота рубахах, с распухшими от побоев лицами. Замбургский ступал осторожно, словно отыскивая взглядом местечко, где бы поставить израненную ногу. Иван всё оглядывался на притаившиеся в сугробах дома, выворачивая голову до хруста в шее, а Ефим Иванович смотрел вверх в низкое тёмное небо с бегущими лохматыми облаками, словно пытаясь угадать, кто же примет там его грешную душу.

Белоусов отвел взгляд и как бы невзначай переместился за спину Вакуленко. Тот ухмыльнулся:

– Чего ховаешься? С тебя причитается – сегодня аккурат Никола зимний. Видать, не случайно в этот день Николай Угодник души их к себе призвал, – кивнул Вакуленко на связанных Борзиловых и Замбургского.

Полицаи торопливо помогли взобраться им на скамью, набросили сначала каждому на шею фанерку с надписью: «Партизаны», потом петли и опять вопросительно посмотрели на немцев.

Офицер вяло поднял перчатку и опустил. Качалов резко взмахнул рукой и неожиданно сорвавшимся на фальцет голосом опять крикнул:

–Давай!

Полицай торопливо ударил ногой по скамье, и вдруг тишину разорвал истошный женский крик:

– Ваня! Сыночек!

По улице, спотыкаясь, проваливаясь в сугробы и падая, бежала с непокрытой головой Надежда Никитична. И крик матери врывался в души людей притаившегося в снегу поселка.

В последнее мгновение Иван успел увидеть мать, услышать её рвущий сердце крик, но сказать: «Мама, прости» уже был не в силах.

Выходившие после смены рабочие сунулись было к калитке, но она оказалась запертой. Стоявший у ворот Безматьев, пьяно икая, покрикивал:

– Чево стали? Через ворота ступай, через ворота.

Увидев Андрея Гуренко, зло пообещал:

– Смотри, зараза красная, следующим будешь, коли не перестанешь воду мутить.

По весне расстреляли Иллариона Батова, а чуть раньше Скабордину Марию – помогала раненым красноармейцам. Не миновал расстрела и Дьячков Алексей Иванович – донёс кто-то из своих, что был коммунистом. Андрея Ивановича Гуренко сначала забрали в районную полицию, долго избивали, а потом отправили в Белгород. Через застенки прошли и Шевченко Павел, и Бондарев Андрей, да и многие другие заводчане.

Подвыпившие полицаи, почесав вволю кулаки, повели было Решетняка Василия на расстрел, да к счастью подъехал полицай из Венгеровки Ветренко Осафий – и бить не дал, и от расстрела спас.

После освобождения густо причесала контрразведка СМЕРШ и районное НКВД посёлок. Кто руки кровью замарал, те подались на запад с отступающими немцами. Сошка помельче решила пересидеть, да не всем удалось: кто в курской тюрьме сгинул, кого скорый на расправу военно-полевой суд в штрафбаты записал, а кто голову пониже пригнул, того коса миновала.

А машинку швейную Надежде Никитичне вернули смершевцы – нашли при обыске у Спиридона Белогурова.

2005 г.

ТАЙНА «ЧЁРНОЙ “ПЕРЕГРИВЫ”»

Пролог

Чёрное, словно выточенное из эбенового дерева, худощавое тело абиссинца изящно скользило вдоль песчаного дна. Выверенными экономными движениями ловец жемчуга собрал раковины в плетёнку и уже собрался отпустить зажатый щиколотками камень, как взгляд зацепился за огромную раковину с приоткрытыми створками, притаившуюся у подножия коралловой гряды. На бело-розовой мантии покоилась чёрная жемчужина. Редко кому удавалось извлечь чёрный жемчуг, ну а тех, кто отважился отнять у моря его сокровище, ждала неминуемая кара.

До неё было не больше фута, какие-то доли секунды, но скопившаяся углекислота уже рвала лёгкие, а разум кричал, что может не хватить именно этих мгновений.

И всё-таки в последний миг он решился нарушить табу. Сил поднять раковину и положить в плетёнку уже не осталось, и он успел лишь сунуть кисть руки между створками, ощутив холодное и упругое тело моллюска. Тотчас же сопротивляющаяся раковина сдавила пальцы и он, отпустив камень и резко разогнув ноги, толчком послал тело вверх.

Вынырнув, ловец несколько раз до боли в лёгких глубоко вздохнул и огляделся. Острые края раковины рассекли кожу, и вода вокруг кисти чуть порозовела.

– Плохая примета, – подумал ловец, – даже скверная.

Кровь могла привлечь барражирующих неподалёку акул, и выброс адреналина заставил его устремиться к качающейся на мягкой зыби доу[1].

---

[1] Доу – деревянная лодка ловцов жемчуга

Ярдах в тридцати волну рассёк треугольник плавника и концентрическими кругами стал приближаться к плывущему. Внезапно плавник исчез, и пловец с ужасом понял, что акула, переворачиваясь на спину, уже заходит в стремительной атаке, распахнув усеянную зубами пасть.

Он успел глотнуть насыщенный зноем нубийской пустыни воздух, крикнуть гребцам в лодке и даже вцепиться рукой с зажатыми в раковине пальцами в скользкий борт парусника, но острые зубы сомкнулись, и отсечённое от руки тело устремилось в глубину, влекомое хищником.

Напарник грёб к берегу и рука, вцепившаяся в борт, оставляла алый след, а вода вокруг закипала от множества хищных тел, исполняющих жуткий танец смерти.

Весь улов забрала акула, и оставалась лишь эта раковина. Гребец острым широким лезвием вскрыл створки и впервые за свою короткую жизнь ловца жемчуга увидел массивную чёрную горошину. Суеверный ужас обдал холодом. Чёрный жемчуг, предвестник беды. Он хотел было выбросить обратно драгоценную добычу, но остановился. Может быть, море уже сполна рассчиталось за принятую жертву дивным сокровищем и не потребует взамен и его жизнь? И он сможет выгодно продать её, купить новую доу и нанять ловцов жемчуга, сам оставаясь на берегу?

Потом был огромный многоязыкий базар в центре Хартума, путешествие чёрной жемчужины с верблюжьим караваном в Александрию, где старый еврей, благоговейно касаясь её антрацитных боков, оправил в специально для неё изготовленное золотое ложе ожерелья. Чудное колье белого жемчуга с чёрной «Перегривой» посредине.

Вместе с возвратившимся из египетского похода гренадёром Наполеона ожерелье попало сначала во дворец венецианского дожа, а затем красовалось в глубоком декольте любовницы князя Боргезе.

Непутёвый внук Чезаре, промотав выстраданные в постелях коронованных особ Европы сокровища любвеобильной бабушки, спустил ожерелье за карточные долги заезжему русскому офицеру графу Н.

Поговаривали, что был он довольно знатной особой при дворе самого русского императора и фаворитом великой княгини. Но пусть тень подозрения не падёт на репутацию спутницы жизни Великого князя Александра Николаевича, даже если он и был коронован роскошными рогами, но, тем не менее, вскоре на её груди нежным матовым светом засветилась «Чёрная “Перегрива”».

И наконец сокровище оказалось у Ирины Александровны, племянницы императора всея Руси Николая II, урождённой Романовой, дочери великого князя Александра Александровича, внучки и наследницы жены Александра Николаевича, княжны Юсуповой в браке.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Юго-восточная Грузия. Октябрь 1982 года

Старенький «уазик», натужно, как-то по-стариковски кряхтя, охая и хрипло откашливаясь чёрным дымом, карабкался по скверному горному серпантину.

Позади остались город, рутинная милицейская работа с допросами, очными ставками, обысками, личная хинкальня хлебосольного начальника местной милиции, шашлык, сбивающая с ног чача и завораживающие застольные грузинские песни.

Впереди маячили неясные перспективы пустых хлопот по поздней дорожке и ночлег где-нибудь в заброшенной кошаре. Но Гиви Долидзе, разбитной опер из управле-

ния уголовного розыска республики, не горел желанием провести холодную ночь под открытым небом, поэтому ещё до сумерек машина притормозила у небольшого по грузинским меркам, на полтора этажа, дома из белого туфа.

Гостеприимный хозяин накрыл в цокольном этаже стол из горного можжевельника, украсив его немудрёными закусками: солёным овечьим сыром, пузатым кувшином с молодым зелёным вином, кукурузными лепёшками, хрустящим, чуть солоноватым лавашем и зеленью, но усталость сбивала с ног, поэтому, наскоро перекусив, извинился и отправился в отведённую комнату.

Пролистывая перед сном старую подшивку «Огонька», обнаруженную на древней этажерке в углу комнаты, наткнулся на воспоминания князя Феликса Юсупова. Всего несколько абзацев из жизни в слободе Ракитной в период ссылки, о страшном семнадцатом годе в сотрясаемой ненавистью России, об оставленных в имении фамильных драгоценностях. Время непременно стёрло бы из памяти прочитанное, если бы не его величество случай…

Москва, сентябрь 1988 года

Учёба в Академии оставляла достаточно свободного времени, и мы с упоением окунулись в бурлящую столичную жизнь эпохи перестройки, избавляясь от провинциальных комплексов, словно от тесной одежды.

Москва творческая вовсю эпатировала властям бесконечными митингами и демонстрациями. И бронзовый Пушкин грустно взирал, как у его ног схлёстывались в кровь накачанные шеренги переодетых гэбэшников и милиции, изображавших возмущённый пролетариат, с физически хлипкой интеллигенцией.

Иногда мы грешили перед системой, выдергивая из толпы и пряча за своими спинами девчонок и мальчишек, спасая их от дубинок ОМОНа. И тогда резиновый «демократизатор» коллег обрушивался на наши незащищённые головы и плечи и от рубящих с потягом ударов почему-то лопались шнурки на туфлях и рвались браслеты часов. ОМОН зверел от запаха крови, и в пять минут толпа рассеивалась, оставляя победителям зонтики, чей-то сломанный каблук, выбитый зуб, мозаику пуговиц, проклятия и слёзы побеждённых. Отступая проходными дворами, мы оберегали, как величайшую ценность, спасённую девчонку или перепуганного очкарика, чтобы в следующий раз услышать от них обидное «цепные псы режима».

Мы спешили жить, боясь упустить новый спектакль или открывшуюся выставку запрещённого прежде художника. Мы обретали и теряли друзей, пили дешёвый портвейн в мастерской отвергнутого официозом модернистского художника Витьки Модестова, вечно скулящего и роняющего пепел на обнажённые ноги натурщицы. А сквозь горький сигаретный дым лился серебряный бельканто прелестной Лолочки Неделиной, не признанной властью культовой поэтессы московского андеграунда и дальней родственницы знаменитого маршала.

В ту осень Ленком будоражил кровь эпатажными спектаклями, а Арбат шаржами, частушками, орущими ораторами, низвергающими идолов, и абсолютной раскованностью.

Саша Сазыкин, начальник соседнего райотдела, достал-таки билеты в Художественный на «Тартюфа». И всё благодаря тому, что стоявшая впереди в очереди длинноногая дива предпочла именно этот спектакль, а не какой иной.

Это была первая роковая случайность.

Если бы дама пришла не в сопровождении холёного, барского вида, преклонных лет поклонника, а с подругой, да ещё лучше с двумя, может быть, всё сложилось бы иначе. Но, увы, в тот раз фортуна показала кукиш. Зеленоглазая кокетка, отчаянно стреляя глазками, упорхнула белой птицей в ночной сумрак, оставив на память свой номер телефона, торопливо написанный на программке, и умопомрачительный флёр «Шанели».

Подшучивая друг над другом, добрались до Кропоткинской, где, как обычно, в грязном и заплёванном переходе тусовались дээсовцы.

Сытый дядя семитской наружности, в серой куртке и сальными прядями глянцево-чёрных волос занудно вещал с характерной грассировкой о неизбежном крахе коммунистической деспотии, при этом отчаянно потрясая тощей пачкой листов, словно кастаньетами.

Синий язык подошедшего электропоезда одним махом слизал с перрона припозднившихся зевак, оставив лишь стойких соратников несокрушимой Валерии Новодворской и её сподвижницы рыжеватой Дебрянской, явно смахивающей на потасканную лесбиянку.

По большому счёту нам эта тусовка была, в общем-то, до фени. Но пройти мимо отпечатанных на ризографе с неважной полиграфией листов, содержащих что-то запретное, то, о чём ещё вчера можно было говорить лишь шёпотом и с оглядкой, оказалось выше сил.

То ли мы им не глянулись – типичные ментовские физиономии, то ли ещё по какой причине, но только в ознакомлении с запретным плодом нам было недвусмысленно отказано.

– Толя, граждане демократы нас не уважают, – сказал я в присущей одесситам тональности Толе Гавриленко, начальнику криминальной милиции из славного города Скадовска, белой чайкой распластавшегося на берегу черно-

морского залива на юге Херсонской области. – Что бы по этому поводу сказал Беня Крик?

Беня Крик, одесский налётчик из рассказов Исаака Бабеля, даже спустя полсотни лет по-прежнему оставался кумиром юга Украины и лично майора Гавриленко.

– Шо-то мене не ндравится етот прыщ. И шо за времена пошли? Какая-то братская чувырла[1] собирает почтенную публику и шо-то ей вколачивает за жизнь. А шо он в ей понимает? Што бы сделал незабвенный Беня Крик? Беня Крик осмотрел бы внутренние органы етого павлина без хирургического вмешательства, – с видом отягощённого опытом мудрого члена консилиума у постели безнадежно больного констатировал Толя.

Если Анатолий Александрович переходил на одесскую мову в лексике Бени Крика, значит, будет разборка в традиции биндюжников Молдаванки. Раскачивая с носка на пятку восемьдесят пять туго сбитых мускулов и засунув руки в карманы куртки, он оценивающе прищурил карий глаз и цыкнул золотой фиксой.

– Шура, приступайте, – кивнул он Саше Сазыкину и с сочувствием, переходящим в нежность, посмотрел на представителя столичной демократии.

– Я заместитель Новодворской, – слабо трепыхнулся оратор, ойкая и обвисая на четырёх вошедших под правое ребро Сашиных пальцах.

– Наблюдаются первичные признаки цирроза печени от чрезмерного употребления дешёвого пойла, малоподвижного образа жизни и нежелания строить светлое будущее, – констатировал Саня непререкаемым тоном непревзойденного светила медицины.

Энергично намяв печень демократа, он левой рукой бесцеремонно извлёк из его кармана желанное печатное слово и пинком отправил повизгивающую массу к выходу.

---

[1] Братская чувырла (жарг.) – отвратительная рожа

«Коммунисты прячут от народа царские сокровища», – куцая заметка косноязычно вещала о закрытой выставке царских драгоценностей в Алмазном фонде. Боже мой, и стоило из-за этого тиранить ранимую душу бедного интеллигента? Нам стало даже неловко, но мелькнувшая шальная мысль принести извинения не могла быть осуществима: дээсовцы не стали обременять нас своим присутствием и растворились в неоновом свете подземки.

Вот и выстроились звенья случайностей в логическую цепочку философской категории закономерностей: билеты в другой театр, дээсовцы, газета и заметка. А дальше всё развивалось по законам детективного жанра.

Поскольку ни к партийной, ни к государственной элите мы не относились, то официально лицезреть блеск царских брюликов нам не дозволялось. Тем самым властью мы автоматически причислялись к народу, который, в свою очередь, почему-то не спешил видеть нас в своих рядах и у которого отблеск сокровищ мог вызвать нежелательные ассоциации. Но для нашего начальника курса полковника Сухарева, временного удалённого со Старой площади в почётную ссылку в Академию, прохиндея и бабника, преград не существовало. Короче, спустя несколько дней нашим взорам предстали прохладные анфилады Алмазного Фонда.

Гид с чудным польским именем Хелена, изящная блондинка с угольными, будто выписанными, бровями, была не только элегантна и красива, но и неприступна, как Эверест. От неё просто веяло холодом равнодушия и презрения. Во-первых, устроиться под своды кремлевских сокровищниц можно было лишь при наличии солидной крыши, что, естественно, обязывало. Во-вторых, ей, владеющей тремя европейскими языками, вменили экскурсию с какими-то провинциальными ментами, что сразу же требовало установления дистанции. Но самое главное, о чём уз-

нал позднее, месяц назад она безжалостно выставила своего благоверного за мимолетное увлечение восходящей попзвездой. («Не попзвезда, а звёздная попа», – фыркала и шипела Хелена разъярённой кошкой). Поэтому её ледяное отношение к малокультурным особям неверного пола было вполне объяснимо.

Итак, на чёрном бархате под толстым бронированным стеклом в голубом неоне искрились и переливались немыслимые камни немыслимой огранки в немыслимых оправах. Но часть коллекции была представлена стразами и явно дореволюционными фото.

На мой вполне законный и достаточно корректный вопрос гид сначала испепелила взглядом, гася дальнейшую инициативу и любознательность, после чего надменно-снисходительным тоном поведала о части сокровищ, канувших в небытие в мутном революционном потоке.

– …этот нательный крест императрицы Александры Фёдоровны исчез в восемнадцатом году, а вот эта диадема из коллекции Великого князя Константина была предметом обыска ещё в семнадцатом, и с тех пор следы её затерялись. Правда, в тридцать восьмом году при аресте… – и она назвала фамилию видного чекиста эпохи великих чисток, – её обнаружили, но потом следы вновь теряются. А вот эта «Чёрная “Перегрива”», – указка замерла над тёмно-коричневым фото в виньетке, – принадлежала Ирине Александровне Юсуповой. Часть сокровищ Юсуповым так и не удалось вывезти из страны, однако поиски их также успехом не увенчались. Во дворце князя в Санкт-Петербурге после гражданской войны в результате тщательных обысков чекистами были обнаружены многочисленные тайники, но в них, увы, кроме пыли столетий, так ничего и не нашлось. «Перегрива» исчезла и, видимо, навсегда.

И тут меня словно обожгло: Грузия, подшивка «Огонька», Юсупов, Ракитное, имение…

– Я, кажется, знаю, где находится «Перегрива». Она спрятана в имении Юсуповых в Ракитном.

Я произнес это настолько уверенно, что брови Хелены с удивлением взметнулись вверх.

Москва, осень 1988 года (продолжение)

А осень в тот год была чудная, патриархально тихая и чарующе спокойная, с пронзительными свежими утренниками и совсем без характерной унылости для слякотной и серой Москвы, тронутой метастазами развала всего и вся.

Мы сидели за крайним столиком полупустого летнего, в ажурном плетении багряных листьев амурского винограда, кафе театра Эрмитаж на Петровке, и увядающее солнце мягкой кошачьей лапой нежно ласкало лицо Хелены. Скучающий бармен лениво протирал уже давно прозрачные бокалы, изредка бросая на нас взгляды и откровенно завидуя. Лёгкий ветерок нетерпеливо теребил льняную прядь Хелены и норовил забраться ко мне под рубашку, приятно холодя. Идиллия, жанровая сцена в стиле позднего Ренуара.

Хелена задумчиво пригубила бокал сухого вина:

– После стольких обысков ЧК вряд ли что могло сохраниться. Увы, но далеко не у всех чекистов были чистые руки. К тому же не сбрасывай со счетов гражданскую войну – в имении побывали и красные, и белые, и махновцы, не считая местных крестьян. И наверняка всегда находился кто-то, кто интересовался сокровищами князя. А потом ведь была ещё одна война и село находилось в оккупации… Нет, нет, наверняка вся эта твоя затея бессмысленна.

Неделю назад мы незаметно перешли на «ты», но так и не переступили черты приятельских отношений. Мы просто боялись разрушить ту лёгкость, непринуждённость в общении, которая неизбежно последовала бы за чем-то

иным, более глубоким и личным. И, глядя на милое лицо Хелены, я глупо улыбался и мысленно говорил себе: «К черту «Перегриву»! Да за один только сегодняшний вечер с нею я бы отдал весь юсуповский жемчуг вместе взятый! Разве стоят все эти сокровища вот этой минуты с летящей серебристой паутиной бабьего лета, с мимолётным бархатистым взглядом, брошенным из-за опушки длинных ресниц, с бокалом вина в тонких пальчиках? Ну конечно же, нет!»

– Назавтра я договорилась со своей подругой из центрального архива посмотреть кое-какие документы. Поэтому встретимся послезавтра в это же время на этом же месте.

Хелена легко выпорхнула из-за столика, махнула на прощанье ручкой, улыбнулась, и дробь каблучков звонким эхом рассыпалась вдоль стеснивших улицу домов.

На встречу в назначенное время я не пришёл. Когда три недели спустя я разыскал Хелену, она была необычайно официальна и суха. И всё-таки лед растаял, когда сказал:

– Хелена, девочка, на окраинах страны давно идёт война, а на моих плечах погоны. Поверь мне: меня не было в столице все эти дни. У меня не было возможности позвонить ни перед тем, как уехать туда, ни тем более оттуда, где я был. Всё произошло внезапно. Только ни о чём больше не спрашивай – я всё равно ничего не смогу объяснить. Это не моя тайна. Ты же умница, Хелена, ты всё понимаешь.

Она действительно была умница и больше ни о чём не спрашивала. А что ей было говорить? Что запустили по факультету глуповато-наивную анкету: какое у вас хобби? какую музыку предпочитаете? ваша любимая песня? любите ли путешествовать? Невинная такая анкетка, для дураков. Из всего факультета нас и набралось-то всего два десятка полных идиотов. На дурацкие вопросы и ответы соответствующие. Музыку, естественно, предпочитаем ка-

мерную, а любимая песня, конечно же, «Таганка». Склонность к путешествиям имеем, но исключительно в горной местности с шашлыком в зубах, ну а хобби – национальный фольклор горцев.

Дошутились. Анкета оказалась с подвохом.

Начальник курса, хитро щуря серый в рыжих крапинках глаз, саркастически улыбался:

– Нарзанчик, значится, уважаете? Хинкали с цинандали и лезгинку с саблями? Ха, ну-ну, – и нехорошо ухмылялся.

Мы стояли навытяжку в просторном кабинете Сухарева и лихорадочно соображали, как выкрутиться из щекотливой ситуации. Интуиция подсказывала, что наши шуточки закончатся чем-то весьма нехорошим, но чем? Отступать было всё равно некуда, и мы с ослиным упрямством рявкали:

– Так точно, товарищ полковник, любим.

А Сухарь продолжал резвиться:

– И здоровье хорошее? И туфли не жмут? А под мышками не давит? Ну и ладненько. Дорожка вам предстоит дальняя, орлы вы мои сизокрылые, и хлопотная, так что в путь.

Спецслужбы пытались ухватить угасающий пульс державы и попытаться взнуздать норовистого коня национализма. И потянулись в Закавказье геологи, топографы, этнографы и прочая братия с характерной выправкой и причёсками, с запрятанными под пиджаки и куртки пистолетами и откровенной липой в документах.

Тогда я не мог ей рассказать, что в ту ночь полтора десятка слушателей Академии вместе с оперативно-войсковой группой софринской бригады с закрытого военного аэродрома под Кубинкой вылетели сначала в Кировабад, а уже оттуда маршем на броне бээрдээмов десантуры по горному серпантину добрались до Степанакерта.

Что потом почти месяц под «крышей» младших научных сотрудников Академии наук СССР (с лёгкой руки коменданта так и приклеилось к нам – «мэнээсы») одни из нас якобы определяли места будущих археологических раскопок, другие собирали местный фольклор, а на самом деле занимались тем, что называется аналитической разведкой.

Что под Нафталаном моя группа попала в переделку, пытаясь вытащить в город армян из окружённого села. Против бэтээра и пяти автоматов азербайджанцы выставили почти сотню стволов и сначала в обмен на жизнь предлагали выдать армян, а затем обещали вместе с ними навсегда оставить нас в этих горах. Уверенность окруживших, что при любом раскладе им гарантирована стопроцентная удача, основывалась на запрете, спущенном сверху, нам, окружённым, открывать огонь. Но эта уверенность сыграла с ними злую шутку: не учли, что перед ними не сосунки-первогодки, только что оторванные от мамкиной титьки, а мужики, кое-что повидавшие в этой жизни и совсем не стремившиеся расстаться с её радостями.

Пятеро «мэнээсов», швыряя гранаты вправо и влево и поливая короткими очередями склоны окрестных гор, пошли на прорыв, уводя в образовавшийся коридор армян.

Что первыми получили информацию о прибытии на карабахскую землю афганских талибов и в подтверждение факта выкрали из агдамовской гостиницы афганца и доставили его в штаб группировки.

Что… Да много о чём я не мог тогда рассказать ей, а теперь это уже никому не нужно.

– Смотри, что я нашла, – Хелена подвинула исписанный красивым почерком тетрадочный лист в клеточку. – Ротмистр Игнатьев сопровождал Юсупова после убийства Распутина сначала в ссылку в Ракитное, а затем в марте семнадцатого обратно в столицу. В своём отчете начальни-

ку отделения столичного жандармского департамента он сообщал, что князь вместе с близкими ему людьми принял меры к сохранности части имущества, оставленного в имении. Причём о месте нахождения данного имущества известно лишь самому князю да управляющему имением барону Георгию Александровичу фон Мендену….

Ракитное. Март семнадцатого

Вместе с мартовской капелью в имение пришло известие о событиях в Питере. Сборы были нервными, короткими, с бледными напряжёнными лицами и отрывистыми распоряжениями. На семейном совете Зинаида Николаевна, всегда мягкая и кроткая, на этот раз была непреклонна:

– Феликс, мы не можем рисковать всеми ценностями. Часть просто необходимо оставить здесь. Позаботься, пожалуйста, об этом. Когда всё уляжется, Георгий Александрович переправит их в Петербург.

– Вы думаете, что это взбесившееся быдло даст нам шанс вернуться сюда?

Гримаса пробежала по холеному лицу светского красавца.

Ирина приняла сторону старой княгини:

– Феликс, маман права, в столице творится Бог знает что. Господин Игнатьев говорил вчера, что на дорогах безобразия. На прошлой неделе за Льговом какие-то люди остановили поезд и ограбили пассажиров. Ужас какой! Считает, что после событий в столице полиция ненадёжна и старается ни во что не вмешиваться.

Бледность сильнее обычного проступила на лице Феликса. Он встал, прошёлся по зале, нервно потирая руки, вернулся к камину и несколько минут сосредоточенно смотрел на огонь. Затем резко повернулся на каблуках вы-

соких, начищенных до зеркального блеска кавалерийских сапог и дёрнул витой шнур звонка. В дверях неслышно появился дворецкий и замер в ожидании распоряжений.

– Любезный, пригласи-ка Георгия Александровича и Атабекова.

Подземным ходом, что вёл от дворца через сад к речке Раките, давно не пользовались. Кладка местами вспучилась и осклизла, от стен и пола тянуло могильной сыростью, и длинные чёрные тени, словно души умерших предков, метались под низкими сводами.

Князь зябко передернул плечами и остановился:

– Копай здесь, – и показал под нишу для свечей.

Атабеков, начальник личной охраны князя, аккуратно положил на пол бурку, оставшись в одной черкеске. Выхватив кинжал, он вонзил его в шов на полу, нажал и выковырнул сначала один камень, затем другой, потом ещё и ещё, пока не очистил небольшую площадку. Затем, взяв из рук управляющего черенок лопаты, он с размаху вогнал её штык в глинистую почву. Через несколько минут он выпрямился:

– Готово, выше превосходительство.

Втроём осторожно опустили в углубление металлический ящик, укрытый рогожей, после чего Атабеков присыпал сверху глиной, прихлопнул, утрамбовал черенком лопаты и уложил сверху камни. Довольный своей работой, он аккуратно замёл остатки глины на бурку, прошёл в дальний конец туннеля, чтобы следы не обрывались у тайника, вернулся обратно. Фон Менден, приставив к стене восковую свечу, закоптил пятно величиной с екатерининский пятак. Подхватив бурку с остатками глины, трое молча двинулись к выходу.

Москва. Ноябрь восемьдесят восьмого

– В Магдебурге в тридцать восьмом году некий Георг Иоганн фон Менден держал манеж, где в конкуре участвовали офицеры рейхсвера…

– Ты считаешь, что этих лошадей разводил тот самый барон фон Менден, управляющий Юсупова в Ракитном? – прервал я Хелену.

– Боже мой, какие у тебя манеры! Перебивать даму крайне неприлично, капитан. Коней, – снисходительно поправила она, – чистокровных арабов. На манеже только конь – изящное, воздушное создание природы, порыв, нервная дрожь под шёлковой кожей, трепет ноздрей, а лошадь – это что-то мужицкое, коренастое, тягловое. Так вот, у фон Мендена был сын, офицер, который в сорок втором году оказался на Восточном фронте в пятьдесят первом армейском корпусе.

– Блестяще! – я был в восторге от неженского умения Хелены последовательно выстраивать в логическую цепочку крупицы разрозненных сведений, создавая завершенное панно событий. – Может быть, ясновельможная пани Хелена соблаговолит сообщить, где именно на просторах нашей родины изволил дислоцироваться это злополучный армейский корпус?

– Увы, сие предстоит выяснить пану самому.

В её глазах плясали бесенята, и тут меня осенило:

– Хелена, девочка, да ты никак влюблена!?

– О, пан обладает даром ясновидения? – она рассыпала грудной смех, словно горсть бриллиантов, чмокнула меня в щёку и махнула на прощание рукой: – Я на неделю исчезаю. Амур ля тур. Потом позвоню сама. Пока.

Я сидел за столиком с идиотским выражением лица и вздыхал, как старая корова перед яслями с прошлогодним сеном. Я потерпел грандиозное фиаско. Выстроенная с та-

ким искусством сеть обольщения оказалась с прорехой, в которую и ускользнула моя золотая рыбка. Да чёрт с ними, с этими юсуповскими сокровищами, зато хоть сердце Хелены пронзила стрела Амура.

– Ваш счет, – официант, чуть опустив плечи, совсем чуть-чуть, чтобы не терять достоинство, навис над столиком.

Порывшись в карманах, выскреб всю свою скудную наличность, облегчённо вздохнул: счастье-то какое – хватило, расплатился и побрёл по улице чужого и вдруг ставшего серым и неуютным города.

В Подольский архив Минобороны можно было попасть, только имея на руках официальное разрешение властей либо являясь родственником министра. Разрешения у меня не было, министр родственных чувств ко мне не испытывал, и всё бы закончилось ничем, если бы не одно «но». Этим «но» был полковник Шаповаленко, фронтовой ас, начальник разведуправления пятой воздушной армии и лепший приятель начальника подольского архива, а ещё друг моего отца.

Выслушав мой сбивчивый рассказ (вот где бы пригодилась логика Хелены!), Павел Гордеевич вздохнул:

– Тебя что, капитана милиции, этому в Академии учат? На кого Россию оставляем, Боже мой, на кого!? Нет бы бандитов ловить, по улицам уже не пройти, а он рыщет в поисках княжеских брюликов, следопыт недоделанный. Ну что ещё от вас ожидать? – он сокрушённо качал головой, накручивая диск телефона.

В его глазах я по-прежнему оставался тем самым шалопаем, в безоблачном детстве безуспешно учившим плавать цыплят его тёщи в кадке с протухшей водой и головастиками. Сначала он спасал меня от гнева тёщи, а спустя годы вытаскивал из гарнизонной гауптвахты в Алёшинских казармах, куда меня угораздило попасть почти с приёмной комиссии военного училища. Тогда он сказал, что мне нель-

зя доверить охрану рубежей нашей славной Родины, иначе он навсегда потеряет покой и сон. Теперь же мне нельзя было доверить ещё и охрану общественного порядка.

Зато к возвращению Хелены я знал всё.

Январь сорок третьего. Прифронтовая полоса

Канонада стихала к вечеру, и, выставив пулеметные заслоны, немцы стягивались в слободу, чтобы, отогревшись за ночь, наутро снова занять промёрзшие окопы негостеприимной русской земли.

Оберлейтенант Генрих фон Менден смог выбраться в Ракитное только в последних числах января. Отец слишком хорошо знал Россию, чтобы верить в блицкриг, и не хотел видеть своего единственного сына на фронтовых дорогах бывшей Родины. Но раз от судьбы не уйти, Георг фон Менден, он же Георгий Александрович, пристроил Генриха офицером по особым поручениям при штабе пятьдесят первого корпуса, посвятив сына в хранимую столько лет тайну.

Из Борисовки выехали застветло, но путь по разбитой, заснеженной дороге оказался на редкость утомительным и длинным. Подняв меховой воротник шинели и опустив шерстяные наушники, трясясь на заднем сиденье «Опеля», Генрих фон Менден согревал себя мыслью, что через несколько часов он станет обладателем сокровищ русских князей. В нагрудном кармане лежала собственноручно вычерченная отцом схема расположения тайника.

Не доезжая Трефиловки, водитель не успел среагировать на шевельнувшийся сугроб, из которого вылетело что-то тёмное, и взрыв под передним правым колесом опрокинул машину. Короткая автоматная очередь вспорола обшивку. Ещё мгновение – и поисковая группа армейской

разведки, забрав личные документы убитых и портфель, скрылась в лесу.

На быстро остывающем лице Генриха фон Мендена уже не таяли снежинки, скапливаясь во впадинах распахнутых глаз, хранивших боль и недоумение. И лишь чёрно-красная кровь, выплывавшая из-под спины, медленно всё ещё выедала проталину в снежном накате дороги.

Ночью разведчики перешли линию фронта, и молодой майор из разведотдела армии без особого интереса бегло просмотрел бумаги, извлечённые из карманов убитого офицера и его водителя, повертел в руках вчетверо сложенный лист со схемой какого-то здания и крестиком, небрежно смахнул их в конверт из серой плотной бумаги, надписал и прикрепил к донесению. Зато содержимое портфеля заставило в волнении закусить мундштук офицерского «Беломора».

Москва. Восемьдесят восьмой год

– Итак, ниточка поиска оборвалась смертью отпрыска баронского рода, и ничего, кроме схемы тайника, у нас нет. И где гарантия, что речь вообще идёт о Ракитном. У Юсупова были десятки имений по России и Украине. Хотя ведь что-то привело же отпрыска баронского рода именно в окрестности Ракитного….

– Но у нас есть ещё начальник личной охраны князя Атабеков. – Хелена задумчиво крутила в длинных тонких пальцах бокал с золотистым вином, ловя лучик заходящего солнца.

Подперев подбородок ладонью, я любовался сидевшей напротив женщиной и отвечал невпопад. Ещё бы: сегодня я был приглашён Хеленой к ней домой.

– Нужно искать в ЦГАОР, но у меня нет на них выхода, – Хелена отпила глоток и поставила бокал.

И тут я поставил жирную чёрную кляксу в летящей поэтической строке.

– Я знаю, как проникнуть в хранилище ЦГАОР, – сказал я и победно, сверху вниз, взглянул на неё. Женщина может простить всё, но только не унижение, только не превосходство над ней. Месть последовала незамедлительно и была остра и коварна, как стилет корсиканца, как испанская наваха.

– Ну что ж, милый капитан, кто сомневался в ваших способностях. Дерзайте, причём немедленно, время не терпит. Надеюсь, к следующей встрече вы будет во всеоружии.

– Да, но как же сегодня…, – залепетал было я, но холодный взгляд Хелены мгновенно отрезвил.

И поплёлся я побитым псом к бывшему полковнику ГРУ Иванкину, хотя бывших разведчиков не бывает, дяде Толе, приятелю отца, отпахавшему тридцать лет под крышей за кордоном и пребывающему на действительно заслуженном отдыхе.

Истосковавшись по шорохам осеннего леса, он сутками бродил под тронутыми увяданьем кронами дубрав, изредка появляясь в крохотной двухкомнатной квартирке на Малой Грузинской. Проговаривая речитативом есенинские строки, он развешивал для сушки подберёзовики и боровики, наполняя длинный коридор запахами прелой листвы, соснового бора и свежести, спал накоротке и снова исчезал.

Не было его и на этот раз. Трель звонка глухо доносилась из-за оббитой стареньким дерматином двери, рассыпаясь о стены пустой квартиры. Быстренько набросав в вырванном из записной книжке листке то, что меня интересует, я засунул его под оплетку двери. Оставалось только ждать.

А через неделю обворожительная Хелена, забравшись с ногами на тахту и укрывшись настоящим шотландским пледом, заворожённо слушала рассказ старого разведчика. Полковник в лучших традициях древних английских родов церемонно ухаживал за гостьей, одновременно рассказывая о результатах поиска в архиве, пристрастиях аргентинской кухни, юбилейном шестипенсовике, подаренном ему по случаю юбилея самой английской королевой при весьма пикантных обстоятельствах и ещё Бог знает о чём.

А я с идиотски глупым выражением смотрел на Хелену, совсем забыв о цели своего визита, вздыхал, как сказочный Пьеро у ног обворожительной и неприступной Мальвины, и думал о том, что мне опять чертовски не повезло.

Приазовье южнее Мелитополя. Август двадцатого года

Три эскадрона корпуса Якова Слащева, не знавшего поражений от красных талантливого красавца-генерала, форсировав Молочную восточнее Черниговки и с ходу искромсав роту красноармейцев из интербригады, разворачивались подковой в лаву. Ещё рывок – и фронт тринадцатой армии красных будет неминуемо смят и разорван, как лист бумаги.

Внезапно передние ряды вздыбились и стреноженные свинцом кони забились в рыжей пыли, заглушая предсмертным ржаньем длинные пулемётные очереди. А слева из балки намётом вылетала отдельная кавбригада червонных казаков Виталия Примакова, и на фланге закипала отчаянная и беспощадная сеча.

Ротмистр Атабеков, командир второго эскадрона, волчком крутясь в жёстком казацком седле, изрубив троих

конников, вонзил шпоры в белёсые от пота бока коня, вздыбил его свечкой, пытаясь вырваться, но был сброшен пиками окруживших его красных на звенящую прожаренную солнцем приазовскую степь. Но жизнь не хотела уходить из сухого жилистого тела ротмистра, и он, выхватив кинжал, слабеющей рукой метнул его прямо в горло красноармейца. Клинок прошёл, словно сквозь масло, вышел у затылка, и всадник, судорожно царапая горло коченеющими пальцами, завалился на бок.

Ещё бы секунда, и Атабеков послал бы своё израненное тело в седло, чтобы уйти, пластаясь, в спасительную степь, но пуля, пущенная казаком из карабина, вошла под лопатку и вышла под левым соском, вырвав изрядный клок английского суконного френча.

Ротмистр Атабеков, бывший командир ингушской стражи личной охраны князя Юсупова умер, едва коснувшись земли и навсегда унеся с собою тайну княжеских сокровищ.

Ракитное, девяностый год

Летом после обильных и шумных дождей неожиданно просела во дворе имения земля, частично обнажив кирпичный свод подземного хода.

Вездесущие мальчишки, проскользнув в провал, выудили несколько николаевских монет, позеленевший от сырости бронзовый канделябр с огарком восковой свечи, но были тотчас же изгнаны сторожем.

– Пойми, у меня закрытое учреждение, – директор интерната Вера Александровна была неумолима. – И центр паломничества мне здесь ни к чему. Ты насочиняешь, а люди поверят. Представляешь, что будет, если каждую

ночь мне будут перекапывать территорию сдвинутые кладоискатели? Нет, нет и нет, никаких раскопок.

Наутро два десятка КамАЗов засыпали щебнем двор, а пришедшие рабочие закатали асфальт, навсегда похоронив надежду открыть когда-либо тайну княжеского клада.

В правом крыле юсуповского особняка в стене, обращённой во двор, и сегодня просматривается контур арки, уходящей под деревянный настил лестницы. Это тот самый вход в подземелье, где Феликс Юсупов, барон Георг фон Менден и преданный князю ингуш Атабеков спрятали «Чёрную ”Перегриву”».

1996 г.

СДЕЛКА

– Зело красивы места, да вольные к тому ж. Надобно под себя приспособить, – приценивался Александр Данилович Меншиков, окидывая прищуренным взором живописные окрестности вдоль Свиного тракта. – Да и народишко сыт ещё, не изнурён, животом не оскудел.

Малоезженая дорога вырвалась из теснившего её урочища на открытый гребень холма, сбежала к речушке и, поднявшись наверх, затерялась в серебристых волнах ковыля. Шестёрка запряжённых цугом крепких каурых, изрядно подуставших, вдруг пошла резво, словно набравшись сил от вольного, настоянного на доннике, с лёгкой горчинкой степного воздуха.

– Просторы-то какие, просторы! Лепота! – напрочь лишённый сентиментальности Александр Данилович тем не менее который уж час не мог оторвать взгляда острых с

просинью глаз от окна. И даже близость пограничья с редкими и стремительными набегами небольших конных отрядов крымчаков, направляемых из Бахчисарая заклятым врагом Московии Девлет-Гиреем, шальных ватаг черкасской вольницы, лихих людишек Голого и Тихона Белгородца, разбитых Долгоруким, но всё ещё пошаливающих на трактах Слободской Украины, особенно от Карповской крепости до Хотмыжа, – ничто не смогло омрачить настроения светлейшего князя.

На вершине холма показалось село. Князь отодвинул в угол кареты заряженную фузею, прикрыл крышку дорожного сундучка с покоящимися до времени пистолями и вновь припал к окну. И, как ни торопился светлейший, как ни поджимали дела государственные, не мог пройти мимо такой благодати, учуяв лёгкую добычу.

Путь лежал неблизкий, через Вольный, Хотмыжск, Борисовку в Белгородскую крепость, а оттуда по тракту, минуя Ливны и первопрестольную, в шляхетскую Польшу, в Померанские земли. Он специально делал немалый крюк, чтобы осмотреть бывшие владения Мазепы, переметнувшегося к Карлу, пожалованные царём своему преданному мин херцу за безмерный героизм и отвагу в полтавской виктории в придачу к золотой шпаге и фельдмаршальскому званию.

– Эх, промашку дал гетман Иван Степанович. Видно, подвело чутьё старого лиса. А теперь и Карла бит, и вотчин нет, – злорадно и в то же время с ноткой удовлетворения отметил Александр Данилович и ткнул концом трости в спину форейтора: – Заверни-ка в слободу.

Управляющий Пантелеймон Суржанский, плотно сбитый коренастый мужик – что в ширь, что в высоту – колобком выкатился к осевшей перед крыльцом карете.

– Милости просим, ваше сиятельство, во владения. А мы уж изождались: давеча гонец прибегал, сказывал: сам

светлейший князь Ляксандр Данилыч может пожаловать. Вот и дождались, батюшка вы наш. Проходите в светлицу.

– Погоди, – князь окинул теснившуюся поодаль дворню, разом выхватывая взглядом рослую, с проступающим сквозь смуглоту кожи румянцем, дворовую девку и коротко распорядился: – Прежде баньку с дороги, потом и поснедаем. Да чтоб анисовую приготовил, шельмец.

Подозвав приглянувшуюся девку, взял двумя пальцами за подбородок и заглянул бесстыжей голубой просинью в чёрный омут глаз черкашенки[1].

– Как звать-то тебя, девица?

– Наталка, – выдохнула та, пряча глаза и заливаясь краской.

– Хороша девка, дай-ка я тебя поцелую, – Александр Данилович ухватил за локти цепкими пальцами Наталку и притянул к себе.

– Неможно, барин, прилюдно – то нехорошо, – чуть слышно прошептала она, отстраняясь.

– Барину всё можно, – рассыпался князь громким заливистым смехом, но отступился и, порывшись в кармане дорожного кафтана, достал серебряный целковый. – На, держи, за красоту твою… – и, наклонившись к самому уху, многозначительно прошептал: – …и ласку.

Знатно попарившись, отведав анисовой под свежую зайчатину с брусникой да диковинную степную птицу дрофу с антоновскими яблоками, обласканный сенной девкой, облюбованной им накануне, наутро светлейший князь чувствовал себя свежо и бодро. Отдав распоряжения, Меншиков расспросил дорогу на Хотмыжскую крепость и заторопился: надо бы поспеть в Белгород засветло.

Проезжая мимо давеча примеченной черкасской деревеньки, что вдруг открылась взору сразу за лесом, поинтересовался у вислоусого черкаса, ломанувшего шапку в

---

[1] Черкашенка, черкасы – переселенцы из Украины.

испуге от появления знатного столичного гостя и застывшего в полупоклоне:

– Чьи холопы будете?

– Вольные мы, ясновельможный пане, – ответствовал степенно черкашин.

– Сельцо-то ваше как прозывается? – щурил хитрый глаз Меншиков.

– Введенское, ваше сиятельство.

– А лес тоже ваш? – показал князь на могучую дубраву, теснившую засеянные рожью поля.

– Знаменского монастыря леса, а поля наши.

Александр Данилович постоял у огромного кряжистого дуба, заставой ставшего у околицы, полюбовался на мачтовый лес и коротко бросил форейтору:

– В монастырь.

И хоть бит был Александр Данилович не раз и нещадно за великое казнокрадство жестокой рукой царя-батюшки Петра Алексеевича, но уж такова натура светлейшего князя, взлетевшего из подлого сословия к вершинам власти: не мог он пройти мимо, чтобы не поиметь выгоды.

Не любил светлейший постной монашеской братии, вечно алчущей и жалующейся, но своего не упускающей. Поэтому искал любую возможность насолить крапивному семени, а тем более урвать кус от монастырского пирога почитал за благо.

Дежуривший у монастырских ворот инок Флегонт кинулся к настоятелю сообщить весть о невиданном доселе госте. Игумен Сафоний перекрестился: антихрист царя Петра пожаловал, разбойник Алексашка, а принимать-то надо с царскими почестями. Неровён час, так обидеть может, что по миру с братией пойдешь. И поспешил во двор, где плутоглазый кучер уже распрягал лошадей, а Менши-

ков нетерпеливо постукивал тростью о пропылённый, обтянутый воловьей кожей бок кареты.

– Дорогие гости, ваша милость, светлейший князь Александр Данилович! Рады видеть вас в нашей скромной обители. Вот уж не думал раб твой, сирый и убогий, что допречь смерти увижу вас….

– Ладно, кончай, недосуг мне. Вели коням овса дать да напоить. И людей моих покорми. Чай, издаля едем.

Меншиков сознательно умолчал, что хотя и едет из Малороссии, но ночь сладкую провёл во владельческой слободе Ракитной, что по прямой верстах в двадцати к северу.

Обрадованный, что гость ненадолго, проездом, Сафоний быстро распорядился и повёл столичного гостя в покои.

– А монастырь-то знатный, не бедствует братия. Сколько мер жита [1] собираете? Сколь бортей[2] имеете? Смотрю, вар[3] полон худобы всякой и птицы. Экая прорва добра-то, а в казну, небось, гроши платишь? В закуп[4] хотмыжанам да черкасам много землицы отдал? На земледельцев великую ругу[5] положил?

Князь говорил намеренно быстро, перебивая пространные ответы настоятеля новыми каверзными вопросами, от которых отца Сафония бросало тот в жар, то в холод.

– Батюшка наш Пётр Алексеевич воевать шведа и дальше будет. Сейчас поход затеваем в Польшу королю Августу помогать, а там и до турка доберёмся. Флот нужен, а на него лес корабельный. Давече между слободой и Введенским селом приметил я землю лешаю[6]. Вот и думаю: то ли лес тот в государеву казну отписать, то ли братии помочь, обменять твой лес на моё сельцо Введенское.

---

[1] Жито – рожь
[2] Борть – улей
[3] Вар – скотный двор
[4] Закуп – аренда
[5] Руга – церковная пошлина
[6] Земля лешая – земля, занятая лесом.

Меншиков пронзил синью глаз своих сомлевшего в испуге Сафония. Игумен, прижав к груди пухлые ладони, проворно, несмотря на тучность, изогнулся в полупоклоне.

– Заступник ты наш, светлейший князь Александр Данилович! Обитель наша и так великую истору[1] терпит во благо царя нашего Петра Алексеевича и Спасителя. Разор чинят то лихие людишки, то ватажки казаков черкасских, то татарва крымская, то...

Тут игумен запнулся. Заикнись только, что беда большая не от татар да казаков, а от петровских военных да гражданских чинов, проворно выгребающих на нужды государства и провиант, и монету звонкую, так горя не оберёшься. Разве стерпит такое этот прохвост Алексашка! Ох, и времена пошли! Сафоний вздохнул и поинтересовался:

– А как же насчёт царского запрета? Не велит государь монастырям земли менять с мирянами[2]

– Царь Питер не велит вашей алчной братии крестьян да детей боярских зорить, земли их к себе забирать. А мы ж с тобой полюбовно складство[3] учиним. Иль тебе не любо мое предложение?

– Любо, батюшка князь, любо, только вот… – замялся игумен, – А запись[4] у тебя, князь, на ту деревеньку есть?

– Ты что, преподобный, али в пост оскоромился, что непотребное спрашиваешь? Иль сказать хочешь, что царский слуга фельдмаршал светлейший князь Александр Данилович Меншиков подлый мошенник? Батогов захотел?

–Что ты, что ты! – замахал руками игумен. – Окстись, князюшка, повидалось тебе, не так понял меня, овцу за-

---

[1] Истора – издержки, убытки, траты

[2] Указом Петра 1 от 11.03.1701 г. монастырским властям запрещалось меняться с помещиками землею.

[3] Складство – мировая запись. Тождественно современному юридическому термину «мировое соглашение».

[4] Запись – в данном случае документы о принадлежности права.

блудшую. Я насчет рядной записи[1] речь повёл. Знаю я ту деревню, небедна, да зело вольностью порчены черкасы, там проживающие.

– Ты что, преподобный, выгоды своей не видишь? Лес, небось, черкасы и без твоего ведома рубят. К тому ж в казну могут отписать для корабельных нужд. Какой монастырю резон? А так деревенька, земли пахотные, худоба[2] – есть, чем ругу платить. Впрочем, как знаешь, не неволю.

Меншиков встал, прошёлся по комнате, остановился у окна, будто приглядываясь к чему-то. Игумен понимал, что неспроста, ой неспроста князь расщедрился, отдавая деревню за лес. Видно, есть ему в том выгода и немалая, да постичь её не может никак. И всё-таки алчность взяла верх.

– Это сегодня князь здесь, а завтра Бог знает где, – рассуждал настоятель. – Может, и не вернется сюда больше, а деревня-то ведь останется. Одни выпасы чего стоят.

Князь и игумен быстро сладились, ударили по рукам, и Меншиков выцыганил-таки у настоятеля письменное складство на лес, ловко уйдя от робких просьб Сафония дать ему бумаги на село Введенское. Взамен, придвинув бумагу, часто макая перо в чернильницу и хитро улыбаясь в кошачий ус, начертал: «Мы, Александр Меншиков, Римскаго и российскаго государств князь, герцог Ижерский, наследный господин Аранибурха и иных, его царскаго величества всероссийскаго первый действительной тайной советник, командующий генерал фельт-маршал войск генерал-губернатор губерний Санктпитербурхской и многих провинцей его императорскаго величества кавалер Святаго Андрея и Слона и Белаго и Чернаго Орлов и пр. и пр. и пр. славно отобедал в сем монастыре восьмого дня августа».

---

[1] Рядная запись – письменное оформление сделки.
[2] Худоба – домашний скот.

Сафоний протянул было пухлую руку, подслеповато щурясь и силясь одолеть княжескую грамоту, но Меншиков остановил небрежно:

– Потом, потом, тебе всё равно оставлю. Там и прочтёшь на досуге и возрадуешься. А пока вели седлать, пора, государь Питер ждёт.

На славу откушав вместе с настоятелем игуменом Сафонием разносолов, запечённых куропаток, бараньей лопатки в соусе и отведав монастырской медовухи, Александр Данилович сладко подрёмывал в мягко покачивающейся на рессорах карете, уносившей его к белым стенам Белгородской крепости.

Тощий пономарь ударил в колокол к обедне. Братия неторопливо потянулась в трапезную, опустив головы. На столе её ждали барошно[1] и клюквенный квас с ломтями ржаного хлеба.

Отправившихся наутро в Введенское устанавливать ругу игумена Сафония и монастырских служек черкасы встретили дрекольем.

Александр Данилович из Белгорода отписал Суржанскому в слободу Ракитную, велев продавать лес вновь заселяемым черкасам, который по указу Петра должен был даваться им бесплатно за казённый счёт. По прибытии же в Питер светлейший получил из казны немалые деньги за этот монастырский лес, якобы бесплатно отпускаемый им черкасам.

Post scriptum

Пройдут годы. Фаворит светлейший князь А.Д. Меншиков попадёт в немилость и отправится в ссылку в занесённый снегом и вымороженный Берёзов. Вотчины его ча-

---

[1] Барошно (барошня) – мучная похлебка.

стью отпишут в казну, частью раздадут другим фаворитам. В Ракитной вскоре появится новый владелец – потомок древнего ордынского рода, перешедшего под власть московских царей и крещённого в православии, князь Юсупов.

18 марта 1729 года новый настоятель Знаменского монастыря игумен Товия жаловался Петру II, что бывший наместник монастыря Сафоний без ведома братии произвёл обмен с Меншиковым лесных угодий, принадлежащих монастырю, на земли с. Введенское, но «… эта земля не взята и монастырю не принадлежит. И в том монастырском лесу подданные черкасы слободы Ракитной рубят лес». Царь не ответил.

8 октября 1731 года Товия вновь направляет жалобу, на этот раз венценосной Анне Иоанновне, что жители слободы Ракитной, «надеясь на оных господ своих графа Шереметева и князя Юсупова въезжают и монастырский лес рубят и пустошат нагло».

Переписка Игумена Товии с московскими приказами тянулась долгих пятьдесят семь лет. 26 декабря 1786 года архивариус Вотчинного департамента составил заключение по затянувшейся тяжбе, что наследниками Меншиковых, Шереметевых и Юсуповых «никаких дач и крепостей[1] не предъявлено» на их вотчинные земли.

Поскольку Екатерина II была не только великой государыней, но и великой грешницей, не чуждой земных слабостей и не очень-то жаловавшей духовенство, чиновник вотчинного департамента разумно решил, что светские интересы выше интересов клира, начертав на деле: «Оставить оное к вечному забвению».

Вот так бывший острог, ставший на берегу речки Ракиты сначала степной крепостцой с дубовым трехсаженным оплотом, а затем приютом для черкас Слобожанской Украины, разросся до размеров слободы. Вольное поселе-

[1] Дач и крепостей – имеются ввиду документы о праве собственности.

ние то ли щедрой царской рукой Петра I, то ли в силу прежней принадлежности к Речи Посполитой превратилось прежде в вотчину польского шляхтича гетмана Ивана Степановича Мазепы, а после Полтавы стало лакомым куском, пока не оказалось правдами и неправдами у Юсуповых.

Уже сотни лет существовало на Руси Великой право – писаный закон, но слишком красноречива та надпись: «Предать оное вечному забвению».

Найдут ли наши потомки документы новых хозяев на земли, на новые вотчины, или начертает чья-то услужливая рука на судебном деле: «Предать оное вечному забвению». По какому праву? По праву Меншикова. По праву Юсупова. По праву сильного.

2003 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ 3
ПОВЯЗКА ФЕМИДЫ 5
БЕЛЫЕ РОЗЫ 11
ХАНДРА 39
РЯЖЕНЫЕ 51
ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ 73
ВСТРЕЧИ 78
ВАСИНА ЛЮБОВЬ 93
СЛАБАК 101
ПРЕДЧУВСТВИЕ 107
ВСТРЕЧА НА КОРДОНЕ 114
ВРАГИ 121
НА НИКОЛУ ЗИМНЕГО 126
ТАЙНА «ЧЁРНОЙ “ПЕРЕГРИВЫ”» 139
СДЕЛКА 161

БЕРЕЖНОЙ
Сергей Александрович

РЯЖЕНЫЕ

Рассказы

Ответственный за выпуск А.В. Бандорин
Главный редактор Л.Ф. Салтыкова
Художественный редактор И.С. Краскова
Компьютерный набор: С.А. Бережной
Компьютерная вёрстка: Н.С. Меньшикова
Технический редактор Н.С. Меньшикова
Корректор Л.Ф. Салтыкова
Дизайн обложки: Е.С. Бондарев

Сдано в набор 15.03.2008 г.
Подписано в печать 24.06.2008 г.
Формат 60x90 1/16. Бумага офсетная.
Гарнитура Times New Roman.
Усл. печ. л. 10,75. Тираж 1000 экз.

Отпечатано ИП Жуков В.Ю.
г. Рязань, ул. Чкалова, 68